

1076
99
Братья Гордины.

АНАРХИЯ

ДУХА

1919

925

~~106~~
~~99~~

Братья Гордины.

W $\frac{106}{99}$

АНАРХИЯ. ДУХА

(БЛАГОВЕСТ БЕЗУМИЯ)

в XII ПЕСНЯХ.

□ □ □ □



XX-466



ИЗДАНИЕ ПЕРВОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОЦИОТЕХНИКУМА.
ВРЕМЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ.

Москва.—1919.

925-2

==== КНИГА ====

для СПАСЕНИЯ ДУШИ и ТЕЛА,
НЕБА и ЗЕМЛИ, и ЧЕЛОВЕКА,
и ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, и ШЕСТИ
ДНЕЙ ВРЕМЕНИ, и ПЯТИ
ЧУВСТВ, и ЧЕТЫРЕХ СТОРОН
ЖИЗНИ, и ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЙ
ПРОСТРАНСТВА, и ДВУХЪ МИ-
РОВЪ и ОДНОГО БЕЗУМИЯ.

=====

ТИПО—ЛИТОГРАФИЯ
Ю. ВЕНЕРЪ,
ПРЕЖДЕ О. Фалькъ
МОСКВА, СРЕТЕНКА,
ИКСНОЙ ПЕР. Д. 26.

ПЕЧАТАЕТСЯ С РАЗРЕШЕНИЯ ОТД. ИЗД. И КНИЖН. ТОРГ. М. С. Р. И К. Д.

За недостатком бумаги песни, писанные четверостишием, набираются и печатаются в виде прозы.

1-я ПЕСНЬ.

живешь.

И говорят Они, что ты... Ты умерла, как крас цветы, что слезной осенью вянут и краски песни нам не тянут. Верь! Это ложь, лжи клевета! Не умирает ведь мечта! Не умирает жизнь живая! И вянет ль Роза сердца рая?! Не умирает песнь без слов! Не тихнет красоты рык львов! И ты живешь, как жизнь предвечно. Ты, словно время, бесконечно. Да! Ты живешь! Моя ты жизнь! Моя ты даль, моя ты близь... Ты грез моих венец средины. Гора! Нет за тобой долины. Они! Они мне говорят! Слова их пепел — не горят! На луну красоты чувств лают, в странах золы страстей блуждают. Да что такое жизнь иль смерть! Тот завтрак, сей обед, десерт?! Что говорят — не понимают. И в непонятие играют. Невежды дико-жалкие! Сны смерти шатко-валкие! Кормите басню соловьями, не вам меня пугать ручьями! Они мне говорят к тому, что я с ума сошел... К уму! Я сумасшедший — утверждают, мое тем действие притупляют. Допустим, я с ума сошел. Был на горе, сошел я в дол. Они горы во век не знали. Не жили... а лишь умирали... Допустим, что я в ночи тьме, но раньше был — ж в своем уме... Подобное сказать ли можно про них? Сказал б, но это ложно... За ними ужь признать ума никак я не могу. Сума не есть верблюд, лев, пес, орлица; их ум не был умом! Он — спица! Я сумасшедший — вот беда! Вино не есть реки вода! Ума безумье шире, выше, сидит оно на мысли крыше. Ума лишен... Убожество! Такое ум ничтожество! Его утрата повчерашня, безумие — высока башня! Откуда им, невеждам, знать, что значит сумасшедшим стать! Им ль

знать безумье что такое? Они ума глупее втрое! И наплевать же мне на них! Считался ими ли до сих пор я? Считаться ими ль буду? Товарищ ль песня гулу, гуду?! К чему слова терять здѣсь зря! Я, откровенно говоря, не променяю мое безумье на здравомыслие их, разумье. Мое есть у меня мое! Мое—твое есть все и все! „Их“ для меня не существует. Меньшой вихрь мысли мой их сдует. Среди них я никогда не бдил, вина из чаши их не пил! Безумие есть выси форма мышления, мышленья норма. Ничтожен, жалок, слаб наш ум! Лишь производит мысли шум. Ключи ума давно изсякли от зной логики — не так ли?! Уверен я, что ты со мной согласна как волна с волной в реке целуются, сливаясь, в даль, в близь, в высь, в глубь, в ширь устремляясь, так наши думы, мысли все слились в одной, златой красе, и мыслию одно стали в мышленья Радости, в Печали... Со мной согласна Ты всегда была: не спорит ведь звезда с звездой. Меня ты понимала; вот соловья трель — роза встала. Как мчисты ручейки весной, мое Я есть Твое, Мой Твой Нам Наш одно образовали, так в скорбь вливаются печали. И Я был Ты, Ты — Я была. Душа два солнца дня — сплела. Была! Была! И есть что было. Светило наше не остыло. И то же самое теперь... Что приключилось, проверь?! Разсудка и ума лишился Я... Твой день жизни оглушился... Да! Это ложь, лжи клевета; что изрыгли грехом уста! Ложь! Гнусно, дерзко святотатство, и богохульство, и злорадство. Тебя они оклеветать как смеют и смерть приписать?! Ты юно древо вечной жизни, Ты жизней колыбель отчизны. Они как смеют! Смеют как! Их свет, их день, что ночь и мрак. Ведь написал я сочиненье твоей в нем смерти низложение, и Смертью я назвал его. Да! Нет! „Богиня, Божество“! Да нет! Опять я ошибаюсь... Вот до названья добираюсь: „душа и вечности покров“ с полета высоты орлов я смерть и жизнь обзреваю, научно Мысль им излагаю, что умереть Ты не могла, пока есть Мебо, Бог, Свет, Мгла. Я доказал им то „научно“, порою хоть неблагозвучно. Я прозой стих тот написал, доказывал и доказал: Не верят ведь благому звуку, а верят в

ложную науку. И сочинение хотел издать! Их не боюсь! Я смел! И пусть страна, весь мир читает, что ты не умерла узнает, и что они постыдно врут, и сеть обмана лжи плетут! Но мне его издать не дали, и сочиненье отобрали, чтобы я мрак, ложь осветил и клевету изоблачил их — не хотят Они. Причины, что темны, как ночей пучины, они имеют, знать, на то... Их знание — дум решето. Мой труд, мое сверхсочиненье украсть! Но это извиненье не могут же они иметь! Как смели, как дерзали сметь? Хватило наглости?! — не знаю. Я дерзновенье ль понимаю?! Единственный Он человек среди наших всех ума калек, с которым говорить хоть можно, что правда, истинно, что ложно. Мой страж, с громадным он умом, но поразил его мой гром... Мне больно, совестно порою, что я его держу слугою. Освободить его хотел давно, и вольную я смел вручить ему. Он отказался, при мне так сторожем остался. Меня оставить одного не хочет. Кто смешней его?! Какой же я один? С тобою я летом, осенью, весной. И вечно я с Тобой одной, и неразлучна Ты со мной, и провожаешь на прогулках в моих живешь Ты звуках гулких. Мне этот замок очертел и эти люди. Тфу! Мне мел их Души! Опостыл сад этот — и ненавистен мне их метод... Но пуще всех мне надоел их доктор молодой. Он смел... И о Тебе он вслух гадает, меня до боли раздражает. И лезет все с вопросами — а сам он тьма с насосами! Тебя коснуться словом смеет. Молчать! Молчать он не умеет. Ни говирить и ни молчать, все знать, болтать его печать. — Всегда такой веселый, бритый, самодовольный, истосытый. От всей моей больной души я ненавижу, и в тиши его и гласно презираю, с собой насилу совладаю, будь ночью то иль будь среди дня, его один вид у меня невольно вызывает злобу... Смерть просится со гроба... к гробу... Я сам не знаю почему! Да „почему“ то здесь к чему? Иль может младость воспоминаю, и больно, что я увядаю, когда цветет младает Он... и больно, что прошел уж сон, Так мчисто, быстро и безследно, а явь близка, больна безвредна. Ведь был таким веселым я, и даль звала, как полямя; и

жизнь сверхзвездно улыбалась и море счастья сном ласкалось. Но Боже мой! Ведь и теперь — себе я верю, Ты мне верь! — я весел, счастлив и доволен, и я здоров, здоров кто болен! И Ты со мной, и я с Тобой, плывем одной ладьи волной, и море грезы с нами дружно, и больше мне, тебе не нужно! И в зеркало я посмотрел на днях. Свое чело узрел. Хоть нету у меня зеркала — но чтоб за этим дело стало?! Тряпицу черную нашел и зеркало я изобрел. Свое окно завесил ею; Ты понимаешь ведь затею: кто хочет быть „очки“, „стекло“, а у него одно чело... Тот зеркало изображает, других другим он отражает. И посмотрел я на Раба, как в роке смотрится судьба. О, Боже! Как я изменился — весь искривился, исказился! Какие у меня глаза! И в них огонь, и в них гроза! И все чело мое в морщинах, в печалях, в грусти и в кручинах. Глубоко в том я убежден, что это доктор, это он подsunул злое мне зеркало, велел ему, чтобы мне лгало. Да не таким же я смотрю, я младостью огней горю; Владыка! Как я разсердился, и волновался, и бесился. Лишь доктор молодой... Лишь он, коварен, зол, хитер, умен, он зеркало мне дал кривое, что исказило молодое мое лицо, — увь! — в висках мне показало — в душ тосках! — Как лунь, снег, волосы седые, и щеки впалые, худые. Меня пробрал гнев, ярость, дрожь. „Не так смотрю я! Это ложь! Обман коварный, шутка злая! Стареться мне ужь, увядая — да отчего?! Ведь я счастлив и молод... Гувствую прилив сил, свежести и мощи-радость! о зеркало ты врешь! лжи гадость!“ Два раза каждый Божий день бываешь у меня. Прочь тень! я счастлив, наг и бодр, свеж духом, тебя я вижу глазом, слухом! Одно, гулять я не хочу! да изредка на них кричу! Знать надоели мне прогулки. И я ль кричу! Что звуки гулки моя ли в том вина! Притом сил у меня нет на одном и том же месте все топтаться — и это ль значит прогуляться?! Хочу обнять высь, ширь небес! Хотел бы я пойти в даль, в лес, туда, туда, где свет и тени плетут узоры сетолени. Мне этот замок надоел, и им говею им говел. Зовут его же домом Умалишенных... и как громом злым в первый

раз мой нежный слух названьем поражен был... Глух я нынче стал к нему... Да, глупы безчувствием люди и так тупы! Названья же еще глупей — венки из глупости цепей! Как мысли глупы их деянья, еще чудней их нареканья! О, люди, до безумия, где вихорь, песня, шум и Я не смеете умом подняться, и вечно вам в пыли валяться. Не смеете безумно вить, безумны речи говорить, и даже безумно выражаться, в безумном платье наряжаться. Про зеркало ужь я тебе, да! рассказал, иль нет? — себе! Я на него так рассердился, разбил его, когда я злился. Моя всеильна злоба, злость. Стекло в куски — собакам кость! Здесь... на пол... Там... на подоконник, рассеянности я поклонник. И мигом сторож мой вошел, и видел он, я гневен, зол. Меня спросил: „Да в чем тут дело?“ Стекло разбитое не цело. И стал ему я объяснять, Идею, бред, ругать, пенять. И он со мною согласился, сам на зеркало разозлился. „Вы правы! Да!“ — он мне сказал. Всегда я прав, я это знал. Да кто же прав? Они? Конечно, я! правым быть могу извечно. Хотя я лев, всегда я прав. Я кладезя правот журав. Я правым был и есть, и буду, я прав всегда, я прав повсюду. Я все три времени, как Бог употребил, могу, как мог. Безумье Богу не бесценно, в безумьи жил Бог бессомненно... И объяснил я сторожу его я мненьем дорожу — в чем дело, и ему прибавил, что смертная казнь против правил законов, принципов моих, что ароматны, словно стих. И вообще я против смерти, в „ничем“ живут одни нет-черти! Над жизнью поднимаясь, убил б смерть, увлекаясь. Со смертной казнью я считаю, борьбу не нужной, порицаю приемы, агитацию, я чту безумья грацию! Ведь мелко то, что не велико, и глупо то, что не предико. И смерть убил бы, с Нет родня. А ну! сожги, когда огня нѣт и казни — коль смерти нету! Высь мысли постигаешь эту?! Я бы... Но смерть я сохранил, хоть стоило мне много сил... Так как мне сохранять труднее, чем уничтожить... и умнее... Я смерть для лжеучителей храню и душ мучителей, Я смерть храню для всех учений науки истин заблуждений. За ложь я смертию карать, каз-

нить готов родную мать. И я храню для лжи смерть вечну, учитель лгун! не будь безпечну! Карать же смертью следует всех все, что лжет дажь сед дуэт... Что лгать иль исказить смел, смеет действительность и не робеет. И потому стекло карал и смертной казни я предал; разбив зеркало в ложь я метил... На это сторож мне ответил: „Да совершенно правильно!“ Ты веришь, Савл стал Павл... но меня ты чувствуешь! Пойми же! Кто мог подняться выше ниже, простого сторожа сего! К безумию стезя его ведет! В такую мысль -узь вникнуть и возражением не пикнуть! Взбрался он на мысли круть, постиг и философии суть, что ложь достойна вечной смерти — поймут меня ль те здравья черти?! За ложь и следует карать! Солгал — тебе ужь умирать! Реакция естественная, не плоти кара девственная. Лишь Мир есть Истина-Жена. Наука вера ложь одна. Действительности нарушенье — ложь. Лжи грозит уничтоженье. Уничтожение смерть есть, за ложь смерть следует — не месть! Лежит смерть вне действительности, наука вне дивительности. И понял это сторож мой, и согласился весь со мной, без всяких лишних кривотолков. И собрал он стекло осколков. И выбросил их вон, сказав: „Хоть ложь существованья прав и лишена, могилы стоит, пусть грешницу земля накроет“. История вот с зеркалом. А с доктором? Он Терка?, Лом?! Да тут совсем ужь дело плево, не было ничего такого... Не верю! Говорят они, — Но это враки, бредней пни! — что дал ему я оплеуху — Не верю ложному их слуху! Я человек, что крас звезды, хоть выше, тише он воды, и никогда и веры мухи я не забилел — оплеуху?! Суенаучья ерунда! И злая клевета! — Ну, да! Набросился я с кулаками — все это выдумали сами! Священна личность — Божество! и в ней свободы торжество. Я человека ли обижу?! Его, то ясно, ненавижу. И сколько раз я на дуэль его позвал.. Легка же цель: отделяться под предлогом: „Я болен...“ Да ну его с Богом! Каналья! беспостыдно врет и изворотлив, словно кот. А то вдруг просит извиненья и говорит о всепрощеньи. На днях, во вторник он пришел, я на него

был страшно зол. — „Дуэль в конец вы принимайте? Ведь я вполне здоров... как знайте!“ Он начал, рабская душа, так клянчить... Тяжело дыша, он вышел вон... Мою натуру ты знаешь, горячусь я с дуру и злюсь, и гневаюсь, затем проходит гнев, прощаю всем... Я в злости, мщени неряха... Я человек... душа, крест, плаха. Я тотчас доктору простил. Пощечину, что опустил тогда ему я, — утверждают; и истину тем обижают и если бы они одни слух сей распространяли, ни единым словом стоило бы о том упомянуть! Тот злобы моей достоин, кто любви мог заслужить; в небес крови где солнце, — облака блуждают. они — топь олицетворяют. Ты знаешь? дело тут вот в чем, и сторож мой согласен в том Он с ними, а ему я верю, мое другою мерой мерю. И если-б Сторож мой один слух сей распространял б, как блин Небес, Луна, он был б лучистым, как истина он был бы чистым. Но тоже самое твердят они, тем Истине вредят... Они — обман, ложь абсолютна, живой воды ведь нет, где мутно! Они, наука говорит: ты умерла и Вера спит во тьме... Что я умалишенный, бессмыслицею покоренный. От сторожа с'едобного ты ничего подобного и не услышишь. Здесь мой замок Он говорит. Порода самок все жены... Мысли все мои, но вник он в них, как бы в свои... Он говорит, что открывает тебе дверь, час прихода знает. Он истину лишь говорит, он мой.. Великий он пит — и до ворот он провожает, ухода час воображает. Он правду говорит, он мой. Он истина воды живой. Мой... Мой... А мой ведь лгать не может — пантехники пророк ль ворожит?! Ты знаешь, правды я весна, всем лью я истину вина. И понавил я техник гнезда и посадил туда правд звезды. Но доктор — он убожество! — черт с ним, наук ничтожество! Ко мне он больше не приходит, но это скуки мне не родит. Наглец, мерзавец! Он всегда бывало, явится тогда, когда ты у меня сидела, молчанья песней веселела. И на зло ежедневно так! Он мракобес и бесомрак! Всегда в то самое дня время я раз сказал ему: „слышь, темя! Не принимаю я сейчас. Придете ровно через

час". А он стоит. „Вы мне мешаете! Да что вы тут не понимаете!“ Я рассердился и вспылал. Он удивился и спросил: — „Что значит? Как я вам мешаю? Ведь вы один... по вас скучаю"... „один я или не один, полено или острый клин?! „Ступайте — и не ваше дело!“ Меня ведь это так задело. „Один, один!“ Она ведь здесь, на древе скромности спит спесь. Слегка, притворно он смутился сейчас же, сволочь, удалился. Как гневен был я, злобен, зол. О, если-бы он не ушел! Ушел?! Тут сторож мой вмешался, над ним в глаза он насмеялся. И говорил ему: „Оне сидят здесь с ними в тишине. Да нынче верно им мешайте и впредь ужь это время знайте!“ Так он тебя зовет: „Оне“, не смеет он будить во сне молчанья имя молодое твое и действительно святое. О, если-б не сей человек, мне миг тягуч был здесь, как век. Я ненавижу узость рамок, Я бросил бы сей затхлый замок, и за-границу б ускакал, и поминай как звали, звал... И, разумеется, с тобою Я бы уехал... Ночь с луною... Смешно! Тут только то смешно, что растворяю я окно тебе, как будто ты не зрела все это. Помнишь? Дня светило садилось. И ты со мной сидела, и мечтой одной и сном одним себя обвили, и про закат мы говорили. Да, чуден, славен был закат, горели тучки: свят, свят, свят! Светила так умеют тухнуть! Мир красоты умеет рухнуть! С улыбкой светлой молодой, играясь с огнем, с волной, смеясь и искрясь, заходят! — Заходы нам восходы родят! Торжественная тишина. Ни плача, стона — зыбь, сон сна... Горит, сторит небесна нива — и умереть должно красиво. У самого окна сидим, мы наблюдаем и глядим. Я говорю: „мы говорили“. На деле мы молчанье пили. Ужь воздух светлый поседел, лишь снег один остался бел. И тучки огненны разносят закат и искрами разбросят — тень по небу пречистому. — Художнику, крас кисть — тому! Что тухнет, меркнет, потухает, кто кончил жизнь, тот умирает. Родились тени... Мрак и мгла. Тускнеют небо и хвала. Прекрасно ясно помнишь, знаешь, и все жь пишу — ты понимаешь? Лишь ради удовольствия: сердечья продовольствия. Я вновь

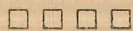
с Тобой все преживаю, и рифмой струнно пребираю. А вновь прежить есть снова пить, какая прелесть прясть, ткать жизни нить. А кровь, как в сердце, младо бьется в висках; узор надгрезно вьется. Пишу тебе. Я б говорил. Но говорить, поверь, нет сил; не то чтоб не-охотно было, — мне слово речи опостыло. Речь есть безграмотных язык. А воздух чист — молчи, рев, рык. Его я бороздить не смею, и говорить я не умею. Я не умею, не хочу. Молчанию я всех учу. Пишу! Я говорю с Тобою в тиши ночей письмен волною. Тебе одной я здесь пишу. Тебе восторги все ношу. Они — записки хоть читают, в них ни черты не понимают. Вчера иль третьяго дня, в час с прогулки вернулся как раз я, оба у стола стояли и про записочки блеяли. „О, Боже — говорит младой, — умершей пишет сей больной“. Старик ему и отвечает: — „Да... это, да... у них бывает“. На эти я слова вошел. Следы их рук хранил мой стол. Я знал: они меня читали, записки все перебирали. И начал я им объяснять, свои идеи оттенять; я излагаю мысль научно да хоть порой разумно-скучно. Вы говорите „умерла!“ — А умереть она ль могла, пока живу и поживаю? Ведь я ее в себе вмещаю. Она Мое Я, Я есть Ты. Два крылышка одной мечты. Она жизнь олицетворяет, она безсмертьем обладает. И как я в ней, она во мне. Явь явно смотрится во сне. Пока живу, живу Я ею — поймите же мою идею! Пока я вижу синеву, живет она, как я живу. Она, звончее смерти, тише сна звезд в небесной жизни нише. И это все я доказал, как дважды два есть истин шквал, в моем сверхтомном сочиненье, которое лежит в забвенье. А во вторых, чему вы тут так удивляетесь! Кладут индусы, китайцы прошенья о ниспослании избавленья, что Богу адресованы в гроб, заинтересованный покойник просьбы принимает, душой во сне читает и содержанье предает, а Бог просимое им шлет. Вы скажете: „ну, суеверы!“ Но чем наука лучше веры?! И вы наивны и смешны! Отцов вы верные сыны! Наука тем не суеверье, что вер наивнее не в меру. А у евреев? Это дед-народ великих славных бед. Народ бесспорно хитрый, умный,

коль прескочил чрез смерти гумна. Еврей записочку кладет к покойнику в могилу, в рот. Есть сила в письменах, как в слове. Усопший предает Иегове. А грозный бог с своих высот Парноса, здравие дает. Как вера, так наука ложна, ведь это просто и не сложно. Дажь если-бы она могла и умереть, и умерла, Читать мои записки будет, и ими смерти сон разбудит. И где могила, гроб ея я знаю, отыщу средь дня. Мои записочки читает и сердцу моему внимает. Все это я им вслух сказал. Старик молчал, молодой молчал. Как будто предо мной немые... Они за книжки записные свои взялись, давай туда писать! Чернила их — вода! Как книги, книжки их же глупы. Воды научной, мутной Ступы. И скажут, верь, они Тебе: „противоречу сам себе“. Не умерла, — я утверждаю, И где твой гроб святой — я знаю. Наивные! Да кто учил, противоречья тот точил ножи! Не было бы науки, не будь противоречий муки!... Наивна наша логика! Мышленья педагогика. Великий мудрый Аристотель, в науки лабиринт войдете ль без А есть А не — А, нет — да? Без нити этой никуда и шагу ведь ступать не можем, и все мышление положим. Мышленья наше есть одно противоречия звено. В разумном, мудром рассужденье лежит его опроверженье. Таков наш разум и наш ум, напрасно здесь поднять и шум! И если мысль до конца развьете, ее вы тем и разобьете. Мышленья ваше, к счастью, трус, и говорит: где минус — плюс, и не идет таки ни с места, не бродит вашей мысли тесто. Боятесь мысли глубины, вы недомыслия сыны! Ея боятся и выси, ея страшитесь горной Рыси! Ея боятся широты... Ея незрелые цветы и не донашенные рвете и за плоды их выдаете. Покорен мыслей я судьбе, противоречу сам себе. Себе противоречить будем, пока мы мыслить не забудем! В Мышленья Тайны тайн я вник, в противоречьях я велик. Систем мышленья громы ль мечет себе кто не противоречит?! Иль я молчу, иль я учу! Противоречье все точу! Есть истина в противоречье: последователь и предтеча. Две противоположности суть правды две возможности не только в жизни — и в мышленья... Навряд ль

поймут мое ученье! Рабы они дум Суеты! Меня лишь понимаешь Ты, и больше чувствуешь и чаешь, чем суть системы понимаешь. О, милая моя, Ты знай, лишь чувство — истинный теплый край, зенит в выси всех истин неба, и в чувстве зреет колос хлеба. Да что-то ведь тебе хотел я рассказать, но не успел. С прогулки как-то раз вернулся, опять на них я натолкнулся. Тут с доктором младым старик толкует обо мне он. Вмиг я понял их и с полуслова... Я ненавижу молодого. Его я выбросил бы вон, если-б Один попался он. Но старика я уважаю. А почему? Я сам не знаю. Нет! Знание утолю! Младую младость я молю. Я молодость обожествляю, я младость ореолом окружаю. До полного безумия люблю детей их шум и Я их. Дажь тебя люблю, как младость, светила жизни светорадость. Все молодое мне Царь-Бог, всех сил живых живой итог. Как Бог, так Молодость млеет, и вечно сплет, зеленеет. Люблю я утро, жизни рост! Спасения чар дивных мост! Я преклоняюсь пред весною, и пред ручья родной волною. И перед дерева младым побегом бью челом родным. Иду навстречу сердца Маю, и голову я обнажаю. И даже говорят: в саду поцеловал я на ходу Младое деревцо. Не верю. В лобзаниях люблю я меру. Люблю я губы целовать, что розы, зарницы знать. Тебя в уста твои целую и поцелую именуя Царь-поцелуй весенних уст, что алы, словно розы куст, клонящийся к дня солнцу, к свету — у дерева ведь уст роз нету! В саду деревьям потому лобзания ни одному я не дарю. Пришлось к слову, скажу, зарю небес грозову ужь сколько раз я целовал, и поцелуев сок всосал, как странно, мне притом казалось: лобзание тебе досталось... Что ты цветешь там на горе и улыбаешься в заре... Твои рассыпала... Златые дев кудри... Ангелы дневные... С трудом зари я достигал и многократно целовал. Но что лобзал в саду я древо — ложь лжи одна, не верь им, дева! В уста целую я зарю, тебя и молодость — горю! Люблю красот газель и серны! — Противоречия все верны. И по закону этому, светилом логик гретому я старость строго почитаю, и старого д-ра уважаю. Да, вера,

Старость есть краса! И в ней шумят игры леса! И признает перевосходство мое. Мышления уродство Их часто он „умом“ клеймит. Моим он словом говорит, что мне даже кажется порою: одною мы идем тропюю. Красивыя введения! Далек он от мышления безумья дерзости, захвата, горит огнем, но дня заката. Закат огня восходу рознь, хоть в нем пылает Алость вознь. Восход светило дня рождает, закат горит и потухает. Я их застал за чтением моих стихов. Хвалением старик занялся, восхищался, молодой читал и улыбался. — „И у Ломброзо не нашел подобных я“... Тут я вошел. Они ничуть и не смутились, за „здравствуй!“ здорово схватились. Я руку подал старику. Молодой — Наука к пауку. Старик просить стал позволения он поместить стихотворенья мои желает в сборнике. И друга зря в поборнике, их напечатать разрешил я, к печати ненависть пресия. — Молодой стоял, смотрел, молчал, но видно завистью пылал... — Сказав: но лишь под псевдонимом, действительность лежит на мнимом... Без посвящения... в тени... И пусть не знают злы Они, что эти нежны Песнопенья, что эти дивныя творенья тебе одной принадлежат, тобой одной горят, шуршат. Старик благодарил, прощался, а молодой со мной остался и стал вопросами кидать, — охота же ему все знать! — В каких намереньях и мыслях и в месяца каких то числах ту песнь Тебе я написал? Весной иль летом? Я молчал. Сим от вопросов отмахнулся, а он, ушедши, сильно дулся.

живешь!



II-я ПЕСНЬ.

купаешься!

Ты помнишь ли? У вас был сад, — его вспоминать я рад, и сердце бьется младо снова, сад был обширен, сад фруктовый. И сколько в нем цвело цветов и роз, и трелей соловьев. А розы были белы, Новы. Цветы! Плоды! Сад был фруктовый. Жизнь. Лето. Сад живет, цветет, и каждое дерево поет отягощено и плодамн, и голосистыми певцами. Вон гордо яблоня стоит, на солнце золотом горит, унижена вся-вся плодами со светло-красными щеками. Миг. Тихий ветерок пахнул, принес он песне шум и гул. Покачиваются верхушки, неугомонные болтушки. А ветки сладостно дрожат, их листья волей дорожат. И с ветром тихо речь заводят, их тень на то, на се наводят. И яблоко одно вслед за другим, жаль, падает. Гроза? — Лишь ветерок пошаливает, и яблоки одаливает. Упало яблоко к ногам, в траве запряталось там. И тихо спит. Уже забыло, на яблоне родной что было. Так мягко спится во траве, как бы звезда на синеве. Пасть нужно, раньше или позже — да это ужь одно и то же. И яблоко вот падает, одно другим — вслед, радуется: на древе больше остается, — не все же шалости дается. Ты, ветер, сколько ни бушуй и сколько ветки ни волнуй, а яблоко то непреклонно и с веткой нераз'единено. Раз'единить ль вихрей каприз то, что соединила Жизнь, природа, Бог, Стихия, Лето — есть сила яблочное Veto. Вдруг ветер, как гроза, подул, со всею силою рванул, зла дуновенье ветвь сломало, а с ней и яблоко упало. И вот лежат в траве они, Соединены в ласк тени. Как вместе дня лучем играли, так вместе жертвой бури стали. Вон груша!

Яблони родство! Да! Груша гордо существо! Мягка, нежна
ея природа, ведь женского она же рода... Я более яблок
их люблю, и вкус, и цвет их восхваляю. Спесивей, женствен-
нее груши! Так море ласковее суши! Как женственность со
спесью слить? Как да и нет соединить? Знать, женская то
тайны тайна, что ей известно не случайно. Огромным сад,
обширным был. Ключем цветенья летом жил. Цветенье еди-
нил он с пеньем. Как музыку с стихотвореньем. Тянулся,
шел он до реки, что песнею молодой тоски куда то вдаль
неслась и мчалась, и то глубилась, то плоскокалась. Неслась,
спеша к Там, там, вперед, не знал усталости ход вод ея, и
вечно торопился и лентой серебряной вился. Мчался туда,
где спит мой час. В нем постоянность чар и крас. Изменчив
я, сын настроенья, капризен, словно песнопенье. А это ль
для тебя секрет? Великий я, вопрос-ответ. Во мне мир песни
песнь родила, я Неба пения светило, что не заходит никогда.
Я песни песней ночь, звезда; зайду! Уйду! И кто за мною
пойдет, тот будет головою и сердцем выше моего. Но кто
наследует Его? Они все трусы, побоятся с умом жестоко
расправляться. В безумии я превелик. Я песни образ, песни
лик. И мне дарили Боги лиру, что до сих пор молчала миру —
Безумие великий дар, я песнопевец, лирный Пар. Я ниже
разума и выше, предчувствья громче, чувства тише. Я над-
сердечный песни мир, царица — лира вечных лир моя. На
ней, как Бог, играю. Кому и что? Я знать не знаю. Да.
Чуден, дивен был ваш сад! Меня с ним воспоминаний ряд
связал... в нем пахло дев плодами, но больше же всего
цветами. А розы алы? Соловей? Лился ли трели в нем елей?
И розы песней ли атели? Любвию ли пламенели? Да, был —
жил в нем и соловей, гнезвился там, где должен сей гнез-
диться, в роз кусте готовом цвезть, не на дереве фрукто-
вом. И я всегда в сад опоздал, и соловья я не слышал. Я
соловья как бы пугался, и избегать его старался. Я знаю,
знаю почему! Понятно сердцу, не уму! Я к времени тому
поэтом считал себя, забытый светом. Смертей сто — говорит
мудрец, — „Ни зависти одной!“ Певец ему в том вторит..

За ним гнаться ли мне? Природою тягаться? Кто может
спорить с естеством? И голос у кого, как гром? И как
гроза, кто может злиться и ветра быстротой струиться? Вся
наша техника жалка, что создала хила рука ее. И после
упражнений дает ль нам, что без напряжений и без труда
природа шлет. Сама цветет, сама поет. Одной сил и стихий
игрою, весенней, летнею порою. Игрой случайных, вольных
сил нам светит, греет лик светил... В природе — жалкой
нет причины, она не любит злой рабыни. Лишь случай
властвует везде, как в пламени, так и в воде. Явлений ми-
ром он владеет, Он стар, как мир, и все юнеет. Смешно!
бодрюсь, куражусь я, петь соловьем отважусь! И не чтоб я его
пугался, но жалким я себе казался. И в песни соловьиной
час я был в саду один лишь раз. Я пополудни в сад решился
прийти, читать расположился. Природу-Бога я люблю, лишь
ей молитвы песни шлю! Люблю и летом, и весною, люблю
и зимнею порою. Я попытался зимним сном по снегу бегать
босиком. Люблю я снег, люблю природу, люблю я зимнюю
погоду! Зима. Лес. Ветви вырезны. Даль белизною белизны
на солнце серебром сверкает, и, словно звезды сна, мигает.
И под ногами снег хрустит, и очи светом снег слепит. Го-
рит гормя на протяженьи равнин, долин и удалений. Как
мягкая тоска-печаль, дорога тихо мчится вдаль, дугою
резво округляясь, собой играя, забавляясь. С товарищами я
гулял и быстроту я накалял. Природою хотелось слиться,
и в море светлом возродиться. Хотел стать частью ея, свер-
кать, блистать, как блики дня, и как равнина серебриться,
и ликовать, и веселиться. Торжественность царит кругом,
жизнь вся в лучении одном. И ветра нет. Молчит при-
рода, молчанье своего сверххода. Природа трепетно гро-
зит, с душой моей тишь говорит. Порыв! И я стянул
ботинки, бежать пустился я — тропинки Проводит и чертит
мой бег, холодный, мягкий, светлый снег, он ногу холодно
целует, и сердце трепетно волнует. Оставил за собою
следы я чистые, как миг звезды во тьме ночной, звезды
падучей, что пишет по небу след жгучий... Чиста была моя

нога, как всеспасения рога — куда ходила и ступала? Туда, где добродетель стлала ковры. Ходила в Божий храм и к сердца молодым грехам, что святости седой святее и добродетельней, яснее. Хрустел снег мило — пол, стекло! И вдаль, и вдаль меня влекло, мчался, всем сердцем веселея, в пылу порыва пламеня. Товарищей всех я догнал, и полно богат — я устал! Товарищи над мной смеялись, дурных последствий опасались. Хвалили подвиг странный мой, покачивая головой: „Да вот — то храбрый, славный малый! Но он вспотел, какой усталый!“ Ботинки скоро натянул, прилег на снег и отдохнул. Товарищи лишь улыбнулись... Я встал, домой мы все вернулись. Природу страстно я люблю, ее одну пою, молю. Весною, летом и зимою, днем и полуночной порою. Пришел домой. Я есть хотел. На завтра вдруг я заболел. Лежал в жару я две недели — а эти глупы пустомели причинную здесь связь нашли болезнь к прогулке пристегли. Но я в науку их не верю, я признаю ее, как веру. Как вера, так наука сон, источник их — фантазии фон. Игра — наука, развлечение, чар разума красот плененье. И потому я заболел, что ни с того, с сего болел. И если бы здоров остался — то от причины б отказался Научник? Что ж тут говорить! Природу страстно я любить умею! И пренежно любит она меня, и так голубит. О, если бы людей любил я так, как сумму Божьих сил, что мы природой называем — не был бы я так презираем. И желчью б не напились слова, если б обходились со мною люди, как природа — не презирал бы я их рода. Вселенная, природа, мир, разбег, размах могучих лир, в природе свойства — не законы. В ней вечны воли, вольны тоны. О, если б поняли меня, как понимает солнце дня, дневным лучем чело лобзая, и думу черную сражая. О, если б поняли меня как новолуния родня, что сном лучей меня венчает и матерински утешает. О если б поняли меня, как понимает всход огня, надеждою родной лаская, в огне светило дня рождая. Как бы жесток удар судьбы ни был! Конь рока на дыбы! Одни волшебный взор природы лучем разит все злы невзгоды.

С небес моих их гонит вон, и скорбь проходит, словно сон, Душою весь я веселею, и радостью я зеленею. И как б ни морщилось чело, как не было бы тяжело, как мрачной жизнь бы ни казалась, как сильно совесть б не ругалась. — Один вид голубых небес, одна прогулка в темный лес зеленым, свежим, светлым полем, иль ветра речь тиха с раздольем, иль серебриста рябь в реке — помину нет моей тоске! Ни скорби, ни моей печали нету, молюсь я счастья Богу, свету. И светлой кажется судьба! И верю, победит борьба! — и человек как ни увечит — улыбкою природа лечит. Я часто размышлял о том, ея могуча сила в чем? И чем нас умиротворяет, тоску, грусть утоляет?! И с жизнью, и с борьбой мирит и вихрь души тревог смирит, и в сердце чар покой ввеваает, тишь, гладь и благодать рождает. Природы дух! И даж теперь, когда как в клетке лютой зверь я в замке сем уединяюсь, и одиноким объясняюсь, не будь здесь сада вот кругом, что тонет в свете золотом, здесь — там тенями преливаясь, серебряной сетью извиваясь — я б часа высидеть не мог, и если — доктор — сена стог — мешал б уйти, — его на месте я бы убил... с душою вместе на волю славы я б пошел, настолько временами зол я, но вид поля, леса, луга через окно, как сердца друга Глас, зов, меня пленяет. Тих покоен я, смирен, как миг, что в вечность уж давно умчался, воспоминаньем бледным лишь остался. Блик, вид зеленых сих лугов, усеянных красой цветов в Туда живой волной идущих, на холм и на гору ползущих, Ласк ветром погоняемы, мечтою осеняемы, мне в душу льет струю смиренья, и мило мне уединенье. Природу страстно я люблю, вино восторгов ей лию, венком души молодой венчая, сознанием, сердцем орошая. И даж Тебя, в серьез шутя, люблю, как естества дитя. Тебя люблю, как дочь Природы, как ведро после непогоды. Люблю тебя, ты далека, как от презрения — тоска, от всей их тряпочной культуры, и от научной умной дуры. „Вот признаки безумия“ — Словам внимает кум и Я, слышь, говорят: „с его разсказа ведь видно, путает, два раза одно и то же говорит,

повествованию вредит, рассказ он, как слепого, водит и с одного — скок — переходит к другому, вертится зря, вдруг, как вихря обод, ветра круг, рисует, а то разсуждает, — безумье повесть так ломает“. Во первых это ерунда. А во-вторых, ну — нет! Ну — да! Могу развить мою мысль гладко, и рассказать все по порядку, и с рельс рассказа не сходя, текуче, как идя, бродя... и ровно, мягко и елейно и, как закон, прямолинейно. Но рассказать я не хочу! Подобен я ручью — шучу! Ты видела, как он змеится кольцом, туда-сюда струится. И к месту возвращается, откуда вышел... Кается узором и шалит, резвится, а все таки вперед стремится... Течет, не забываясь — красою дали увлекаясь: в сем прелесть тихого свиданья, уклоны, тонкость извиванья... Пойми: во-первых; во вторых: я ненавижу сторожих, пуристок: методы докучны, наивно-умны и научны. Рассказ я вью, как кряжи гор и им на-зло, на перекор! Я презираю все их формы и творчества законы, нормы. Да разве в них огонь горит?! Они умеют-ли творить? На трупах классиков — вороны, их творчество — одни шаблоны! Безумья светло Божество! Закон, прием — и Рождество! Да будь они смелей немного, ужь этой мыслью до порога Безумья б храма добрались... В законе бесзаконья высь увидели б они, вступили в обещанную землю Были, что райской сказочки ясней, игривей ласк бытъя Сверхдней. Нет творчества глубин разумней, законов нет умней, безумней. Рассказом лиры их дразню, к безумию, страша, маню, сверкнув златою чешуею красот, миг! блик! — Я под водою. По-своему — тебе пишу! Огонь огнем чувств, дум тушу! И мысли, восходя зарею, вдруг тухнут полночной порою. Чту круто-дикий переход, что то стоит, то мчит вперед стихийно вольно без размера, как первобытная Правера. По ихнему я ль не могу развить мысль, стать на берегу потока мысли и мышленья, боясь глубин, страшась теченья?! Могу! Но не хочу хотеть! Я вольной птицей вздумал петь! И ни почем мне стили, школы. — Ведь я — гора, Они — суть доли. Могу, могу! Но не хочу! На зло иначить я учу, творить и мыслить

по-иному — вы поклоняйтесь Молодому! Хотел менять даже письма, Песнь Нови, новы времена; писать ужь начал я вверх снизу, и справа — Злому их капризу на зло! Я, — говорят они — деревьев лжи стволы и пни! — По новому ходить пытался, но слишком часто спотыкался. По их словам, я на руках ходил, никак не на ногах; когда жь Они меня спросили, да в чем причина? — Не смутили, я отвечал, по их словам, „Я безпричинен как Бог сам, мне враг — коварная Причина, и мысли плоская вершина. И на руках затем хожу, что в старом новое ужь“. — Я скажу этому не верю, и в новом знаю должу меру. Я знаю меру, знаю такт, и лишь писать — да это факт, пытался я писать иначе, а мыслить и творить тем паче... Раздумал я в конце-концов. Не трогаю ни букв, ни слов, „приобрели же надо мною хоть отрицательной страню чресчурное влияние“ — подумал, изваяние я бросил; старыми словами пишу, но новыми мазками. Пишу Тебе, Тебе пишу. Рассказа ношу я ношу. Уклонно и без уклонений, без цели и без прицелений. Пишу, творю я, как хочу. Учитесь все хотеть — учу! Я волю ставлю в воспитанье превыше веры, выше знания. Молю я воспитателей создайте мощь летателей, как вихрь, поток, морей стихия, дабы раскаяния змия, грешив, не утешалася, и впредь не оправдалася, чтоб жизнь, как хрупку ветвь, ломала, и смерть подругой называла и что путем своим идет, как времени воды полет, и как волна жива, упруга, мягка, как взор, блик сердца-друга. Ломаю, уклоняюсь. Я кратко удлиняюсь. Люблю я все ломать порою; влюбиться же в тебя — весною. На днях посуду я швырял, не чтобы звук меня пленял, разнежа ухо мягким звоном, бесчувственным, бесбольным стоном. Я лишь ломаю потому, — предавшись сердцу и уму, — ломая, сладостно волнуясь, — и я на Лом, на Часть люблюсь. На часть, что целого сложнее, как года — ряд весенних дней, и как любви — первосвиданье, сношений пола — уст лобзанье. Люблю я проследить процесс, как входит в часть Большое Весь, как Целому на Часть дробиться, своею частью становиться. Тогда ломаю страстно все, щажу одно

души бытѣе. Все покоряется процессу, явлений вздернул я завесу. Дажь печь я пробовал разбить, на составные разделить. Ломанья развернулись дали,—но тут они мне помешали, и вышел между нами спор, что темен, словно ночью бор:— „Часть целого сложней и больше, как вечности миг счастья дольше“—я говорю. А говорят и возмущением горят Они, что это не возможно, и что мое ученье ложно. — „И моря ль больше рыба-кит? Из части тело состоит! При том же это аксиома... —разсудка, разума солома! Безумья искорка разит ее, она огнем горит. Мое безумье выше аксиомы! Лачуги выше дум хоромы! Я знаю ты меня поймешь. Цвет Правоты мне поднесешь. Со мною в этом согласишься,—ведь аксиом Ты не боишься! „Не мыслимо иначе!“—вот! Кому укус, кому мед, сот. Меня пугают: аксиома! В мышленья храме я как дома! Я мысли всемогущество, Мышления имущество. Творю и создаю Мышленья, как красоту лир песнопенье. Не мысли раб, а господин Венец мышления годин! И с мыслевысоты паренья ползуче ваше зрю Мышленья. Я мысли свет, я мысли мрак, хочу я мыслю так и сяк. Хочу—я мыслю и иначе, „тем меней Мысли и тем паче“. Я правлю мыслью, правлю ей, как опытный гребец ладьей в чувств тихом озере, луною что убаюкано одною. Я создал логику свою, где без запретов я в раю... Не признаю я измерений, ни трех, ни N, наивность прений! Ведь измерений нет, как нет! Имеет ль измеренье свет? Тьма измереньем ли владеет? И беспредельно вихрь ль не реет? Наивности мышления! И вымысл песнопения как правду Тела, вещи вают, они фатомы измеряют. Осколками зову, маня, и мыслей искрою огня. Я вдребезги бью звуки, гаммы! Развалины—лишь бы не храмы! Ломаю думу, мысль свою, одну лишь дробь я признаю, а целост чисел отрицаю, я мысли линию ломаю. Да здравствует Рассеянность, люблю извив, развейность, меня часть частью привлекает, лишь Человек воодушевляет. Люблю загиб, урез, уклон, и полуцвет, и полутон! Когда посуду я ломаю—они кричат: „мир разрушаю“! Я чувство, думу, мысль дроблю,

и неделимость сна делю. Я мыслию располагаю, как собственностью обладаю. Невластны же Они над ней, Она—моя, Она—Моей! И эта мысль, иль Дробь глубока, как пронизательность душ ока. Лишь Ты одна поймешь меня, узришь восход Дум, Чувств огня! И это удовлетворяет—и сердце торжеством пленяет. К победе вечной я иду, пришел!—и в вашем я саду сидел. И было это летом. Залилось сердце цветосветом. В саду я сиживал в твоём. Сидел я, не как в Вашем, в нем. В твоём, но не вдвоем. Одною была, встречались мы порою, но редко-изредка. Читал. Я в книгах светлый свет видал. Священною была мне книга, не чувствовал учений ига... Я Спенсером был увлечен, его система, как правд звон, храм Истин, предо мной открылась. Душа моя в нем днем забылась. Мне был он: истин Божество! И принял я убожество за простоту, его болтливость за истины глубин игривость. Я не могу ошибки той простить себе... Обман молодой! Индукция, синтеза—факты, к наивности ведут все тракты. Несчастный, жалкий он болтун! Не злато шьет, он шьет галун. От здравоумья отказался и виснуть в воздухе остался. Синтезом глупостей он мнит открыть правд истины зенит! Пустяк он с пустяком рифмует, их нам, как истину, дарует. От берега здравоумия отстал, к реке безумия он не пристал. Ему ль подняться иль опуститься, не бояться тех головокружительных высей дней изумительных. Их сверхбезумье постигает и ими мысленно играет! И я его мыслителем считал, умоводителем! От этого мне больно слезно, за истину считал, что грезно! Он рассужденья глыба, ком, что староложь, то новый том. И как рекой он разливался. Как жалко мне: в нем я купался. И полумрак, и полусвет! Он мелет, мелет—зерн же нет! Пустая мельница в пустыне стоит и вертится донныне! Далек он от восхода дней, далек от Истины огней, к коим идут безумья Крезы, а не наивные синтезы. Его читал, в саду сидел. А сад кругом плодами цвел. Плодами, алыми цветами, и тихо нежился рядами... Читал я, лежа на траве, и грушу зрел я в синеве. А иногда сидел в беседке,

читал, но это более редко. Читал под говор, речь реки, и в сердце бился глас тоски. Читал, с тоской я разлучился! Теперь никак я б не решился сказать вам у кого воды почище у Бритов ль звезды, у той ль реки... тогда был молод я, чужд мне был сомненья холод. Я пил его, как пьют вино, что как мечта пьянит оно. Лежу, читаю ты проходишь, и издали ты производишь чуть слышный шорох в воздухе... Ответствие борозд сохе... И бело платье мелькает, и, словно призрак, исчезает. Чу! веет корабля мечты безвинности и Чистоты всебелый парус, — сердце манит и чарами глаза туманит. И девственности ласк крыло трепещет издали светло, и сердце вслед за ним стремится — светло мне светлому молиться. Ты направляешься к реке, и полотенце спит в руке твоей. Я чую приближенье твое. Я чую удаленье. И сердце чувствует: ушла! И вторят мне глаза: зашла! Я знаю, ты пошла купаться, струею-серебра плескаться. Морей, реки, ручьев — вода! В тебе купается звезда и небосклон, светило, древо, Луна и Юноша, и дева. Вода сильней, мощней огня, усиле сил — ея родня. Как тело душу очищает, в себе и лик наш отражает. И если б покончил я с собой, то не огнем, а ласк водой, живым волнам я бы предался, из жизни в смерть так бы пробрался. Нет этой смерти, слышь, милей, что может краше быть — алей, чем мчаться тихими волнами межъ жизни, смерти берегами! Приду, приду к тебе вода! И в час, когда высей звезда твоею зыбию играет и миги по ней рассыпает. Приду и брошусь, поплыву, к себе волну я призову, ее обниму, облакаю... И счастлив я — я умираю. Я жду минуты той святой. И будет раннею весной, живой стихией обернуса и к жизни суши не вернуса! Купаться Ты пошла одна... О, почему я не волна! Ласкал, лобзал тебя бы мирно и тихо-стройно, ладно-лирно! Растет на берегу крутом том несколько дерев кругом. Деревья веселы, ветвисты, а ветки мрачны и тенисты. Наводят нежную тоску и тень на светлую реку. И можно там даж днем купаться... „Да, ты ушла, пора мне сдаться!“ — Мне голос говорит чужой. Последовал я за то-

бой. Я издали шел, шел крадучись, волнуясь, веселясь и тучась. Кругом меня все-все плыло. Туда, к реке меня влекло. Низка страсть плотская? О, Боже, я низостей ведь был моложе... Я чист, свеж, как небесный снег, что вихря бури носит бег... Еще земли он не коснулся, чист, как ребенок улыбнулся. Впервые матери своей чист, словно воздух первых дней перед рождением Дыханья и плача, крика и стенанья. А может ужь тебя любил? Мне улыбнулся лик светил, весенне сердце согревая? Пахнуло дуновенье мая? Не знаю хорошо и сам, я не вошел в твой сердца храм. Но может был уже в преддверье, как есть пред верою поверье. Я слышу трепет струн тоски. Добрел, дошел я до реки. Там спрятался я межъ кустами, покрылся легкими мечтами. И ты не видела меня. Я зрел тебя, тобой звеня. Ты грезно на реку смотрела, тихонько, тихо вдруг запела. Смотрела на течение и лилось нежно пение... Ты любовалась на речистость, воды живой живую мчистость. Смотрю, смотрел я на тебя — и вздрогнул рок — о чем скорбя? Ты стала быстро раздеваться, твоя красавица — умножаться! Вот скинула ты платье, долг нагости уплатится. О, плечи, груди, ноги наги — оне красивы, словно саги. Моя вся в наблюденьи суть! Целует воздух плечи, грудь, что спорят с белизною снега и с чистотой любви побега. Твоя грудь поднималась, краса как б волновалась: „Смотрю я,“ может, ты узнала, хотя и не подозревала. Скрестивши руки на груди, рекла теченью: погоди! Ты шелка тучки наблюдала, струя с собою их умчала, и брег, мечтой обвеянный, деревьями усеянный, в воде он четко отражался, причудливо к волне прижался. Бдит всплеск, дождь звуков морося, плавник сверкнул вот карася! Очнулась, со всего размаху с себя ты бросила рубаху. Блеснула вечная краса, разверзлись тела небеса. Пред мною древняя Рабыня, нагих, живых красот святыня! Есть в теле чар гармония, что чище благовония. Красот душа есть Девы тело нагое — уверяю смело. Чтоб быть под крытием кустов, я на колени стал. Без слов я песней голою взмолился пред Богом, что в тебя вселился. Пред Богом Красоты мечты,

души красы и высоты... молился стоя на коленях, душа была в лесах, в оленях. Огнем восторга я горю, и наготу твою я зрю, я взором красоту ласкаю, и в трепете я замираю. Я тени ваших дум страшусь, и Богом истины клянусь, не смела грязная родиться мысль, не дерзала шевелиться. Разсыпалась твоя коса, и плечи скрылись... О, леса! Песок под ножками златится твоими, в трон тебе рядится. Слегка ты раскраснелась... и в мрамор млек оделась заря... слегка чуть-чуть устала... с куста в вод пену роза спала... Идешь. Спускаешься к реке. Следы чертишь в золотом песке. И груди на ходу трепещут, светло, лучами встретясь, блещут. В воде остановилась, окружность расходилась... стоишь в воде ты по колени, воды черпаешь; словно пенье доносится ко мне вод плеск и тела твоего свет, блеск,—ты в воду кинулась, поплыла. Русалка вод, Самсон, Далила! Ты плаваешь вперед, назад, и брызги роятся услад, лучами солнца упиваясь, цветами радуг отливаясь. И сердце ноет: вот беда! Вспененная реки вода твою красу всю одевает и от моих очей скрывает. Я вижу голову, часть плеч на солнце блещут, словно меч... А изредка и ножки нежны—но скрылись груди белоснежны. Волной целует их вода... постиг и понял я тогда насколько пагубна культура, насколько гневает Амура Одежда безобразная, что кроет—эра грязная!—Девуцы тело молодое и совершенство черт святое. Да, ты была божественна—морей красот красы тождественна, была богиней теченья, русалкой, нимфой Оголенья. И на коленях я стоять все продолжал, боясь встать. Твоей я красоте молился—мольбою к Богу я возвился. „Молю тебя, Бог, об одном, молюся в сердце молодом. И сердце вздохом, стоном стонет: о, Боже, пусть она утонет! Ее спасти вмиг брошусь я, спасу и вынесу ее в своих объятиях, на траву, на мягко нежную мураву я положу ее.—Она глаза откроет, как со сна, и около себя увидит меня, и нагота обидит ее... Одеться помогу я ей“.—Сидим на берегу. Я говорю: вода коварна, а сердце ей так благодарно. Вот связно я рассказ свой вью, сосуда формы я не бью, когда хочу, тогда ломаю,

всех ломанностью закидаю. Дроблю, ломаю я рассказ в угоду Богу диких фаз и Богу разрушенья злобы, богинь богине гроз утробы Но вот выходишь из реки, бежит вода с ноги, с руки, с груди, с волос... легко ступаешь... дрожишь... ты сушу обретаешь. Поспешно утираешься, в грехах сырых как б каешься, сочишься золотой росой, волшебной сказки красотою. И тело все твое цветет, из красно-синих пятен шьет покров. Ты розами убралась, фиалками ты расцветалась. Да вот на камне ты сидишь. Устала—грудью говоришь. В тени деревьев отдыхаешь, рубаху быстро одеваешь. Так скоро—и одета ты. Исчезло царство красоты. Ты чешешь золотые кудри, и льются капли, солнцем мудры, и благодати, и росы, лучистой, молодой красы. И на лету луч в них играет, песок их жадно поглощает. Мгновение живет краса!—Вот обуванья полоса. Идешь ты вновь к реке мыть ноги, а я? Я мчусь как легконогий олень. Я в дух один удрал. Лежу, читаю, где читал. Покрыта тению аллея, а в голове одна идея: а почему нагими мы не ходим? Сила света, тьмы для тела даром пропадает. Одежда форму убивает. Бог умер красоты у нас со времени, как тело крас одели в дикие халаты—то в море красоты пираты. И всюду кисть убожества и нет у нас художества и чахнет мертвенно скульптура и вянет, не цветет, культура. Возможно ли орлом парить и выси красоту творить, коль голую богиню видеть средь дня тебе раз в век лишь выйдет. Я слышу шорох... Ты домой идешь окружною стезей, твое мелькает платье бело, из за нея не вижу тела. Я гневен, зол, как плоти зверь, не парус мне оно теперь, а саван мертвый, бледно-белый, в нем похоронен Бог крас тела, Бог истой вечной красоты, А кружево? Венки, цветы. О, если б и лицо покрыли, про мертвеца мы б уж забыли. Клянусь безумия пером, нагой кто зрел тебя в родном саду, залитой солнца светом,—не мог не стать певцом, поэтом! И я мудрец, и я поэт! Я видел красоты дуэт, узрел я наготу Рабыни—пророк я красоты поныне! Нагим пытался я блистать в одежде, что творила мать; безнравственным меня ругают и наготы не понимают.

И даже великий сторож мой не понял истины святой, что против всякой я одежды, порой и он как все невежды. И сторожа я стал учить „все нужно наготе вручить, гуляет голым дня светило, Богиня гола голо посвятила меня в апостолы нагот и наго - гола высь высот! Я проповедую чувств нагость, под платьем всякая инакость. Душ нагота не есть порок!— Я голой истины пророк! под формою мысль умирает“— но он меня не понимает. Но ты, лишь ты меня поймешь, ты голою ко мне придешь! Я нагость чту во всех явлениях, в ея всех светах, мраках, тенях. Я Бога голога молю. День, ночь, и свет, и тьму люблю! О, дайте око нам без вежды! И истину без форм одежды. В пустыне мысли караван я бросил логики обман: орудье ль истин достижения? Она теоря умопенья! Люблю я песнь, люблю я шум, люблю я чистый разум - ум, но, разумеется, не Канта логического моды франга! Одежда, форма он одна, не черпал сном из истин дна; одежда и костюм без тела, его мысль далеко не зрела. Сегодня голым я в саду гулять, наверное, пойду. И пусть они, невежды, знают, что истины не понимают. Увидим кто, Кант ль я, из нас философ истин мысли крас! Я нагишем пойду в сад, в поле, на то моя нагая воля!

купаешься!



III-ья ПЕСНЬ.

горю.

Уехал я, я раз'езжал, унес меня кипучий вал, что встал грозю в море жизни, в стоячем озере отчизны... Я ехал, ездил, раз'езжал. Куда-то гнев меня послал. Кто этот Муж — Ты отгадаешь. Одной ногой — Ты понимаешь?—Ноги мизинцем молодым, подобно сказкам пресвятым, земли Безумия коснулся, коснулся и не ужаснулся. Свет тьмы имеет Пят частей, пять Угнетения Детей. А Он одну лишь понял, видел, и слепо остальных обидел. Один есть Пять, Союз Пяти, в Страну мечты всем нам идти! В спасенья гамме бдят пять тонов, набат Безумья бьет пять звонов. Я раз'езжал, я говорил, я больше грел, чем я светил. Я говорил обильно-много... Песнь слов одна была итога... И все перед рабочими, общественными зодчими... Строительством им заниматься... Не праздностью в уме плескаться. Работают что Ночь, что День, прядут Богатству Солнце, Тень... Поют и строят дивны храмы... Портрет золотой, золотые рамы... Алхимия да здравствует! Все блеском, золотом явствует; все, все и пот, и смех, и слезы, и даже пипта светлость грезы... Итак, я говорил за них, читал я прозу, словно стих. Мои слова и понимали, и слушаться порою стали... Сыны Труда то не — Они! Язык, грамматику вини! Что слово лишь одно ваяли, по существу не возбраняли. Я говорил, я говорил. Сказанье в птичку воплотил. Я мысливил, развил Младые, Слова мои, мои родные. Теперь молчу, молчу! Не с кем и слово вымолвить... Я нем... Не говорю я даже с Тобою, в молчании плывем ладью мечты. И вместе мы сидим, и сердце бьется, мы глядим, друг друга, молча, понимаем, и молча говорю внимаем. Я слишком

много говорил, запас словес весь изводил, охота говорить отбилась, и солнце Речи закатилось. Не могут этого сознать Они, Непониманья знать! Дажь сторож мой не понимает, в беседу все со мной вступает. Не потому же я молчу, что злости меч острою, точу; на слово свято ли сержуся? Им говорить ли не решуся?! А потому, что говорить престал, и речи злата нить я оборвал. Изговорился я наконец, и утомился. Язык исчерпан и устал; он осенью, как цвет, опал. Изсох несчастный, тяжко болен... Я словом, речью не доволен. Лежит во рту язык больной, на смертном он одре... Зимой... И беспокоить ли больного? Не говорю ни полуслова. На смертном он одре лежит, и сном предвечным, тихим крыт. Хоть он страдает — не стенает, покорно и смиренно умирает. Ты знаешь — умер он вчера, так тухнут ласки вечера. В немой я Траур весь оделся, и в темный угол я уселся. Оплакал я его слезой, и вздохов сердца струн волной... И раздалися томны стоны, мелькают похоронны звоны. Похоронил его во рту, похоронил, как Красоту... И я его во-век ославил, и памятник ему поставил Я с подписью: Молчание и тихое Стенание. И больше я о том ни слова, он умер, — не родиться снова! Безсмертна Ты, как Мир и свет. Моя! Да может ль стать, быть Нет, пока не умерло светило! Ты мне часть вечности дарила. Часть целому равняется, частица расширяется. Я против смерти обезпечен; и как Безумие я вечен. И не летами я живу, я Вечности к себе зову и ими детски забавляюсь, Анархией прославляюсь. Один единый Жизни день мой — вечности он светотень... Моя жизнь — вечности Четыре, а, может, и того пошире... Знай, ненавижу я число, рабыни бритое чело, гнездится в нем определенность и постоянства монотонность. Люблю я все текучее, летучее, плывучее; люблю я вечное движенье, и ветра, вихря песнопенье. И чтоб все вечно двигалось, как пьяность мыслей мига лоз, как ум, сверхразум мой Безумный и песенный и дикошумный. Сегодня выбил я опять окно... Хотел я звать, приять к себе Вихрь милый и прохладный, движеньем трепетным отрадный... Лишь с ветром нежно говорю, как он движением горю. Тебя он

также уважает, как Дух, как Действо почитает. Я Дух, я ветер, я Гроза, движенья вечнаго Лоза. Я двигаюсь без направлений, расту вверх, ввысь без утолений. Анархия! Мощь! Я Огонь люблю, крыленья Благовонь! Он всемогуча первосила, он лик и свет, тепло Светила. Он гонит ночь, он гонит тьму. Тебя люблю лишь потому, что Ты мой пламень, Ты пылаешь в душе моей, не угасаешь... И в сердце молодом моем горишь ты пламенем, огнем. Горишь, горишь, не потухаешь, горенье вечное Ты знаешь, Величье тайны вечнаго Огня грядущаго без ночи дня, что в собственном горит он масле. Огня души ты грудь и ясли! И говорят, Правд пень рубя: я лампу взял, поджег себя, поджег я волосы и платье, — врёт, врёт, врёт лжи Аристократья! И говорят, тень правд дразня; я вылил керосин, огня всесловом Угол поджигая и Комнату, в пожар играя. Они лгут! верно, что огню служу, его к себе маню. Он Бог Богов, Он Разрушенье, Кует он Нови Песнопенье, из Хаоса родил он мир, он гром и молнья сердца лир, пред ним лет льдины хладно тают... Они его не понимают... Он краденый Великий дар! Он в обществостроильне Пар. Ему Алтарь Там... в сердцехраме, он свят, как слоги в слове „Маме“... И в жертву приноси ему всех мыслей чувств Весну, зиму мышления, Разсудка думу, всех истин правд всю ложну сумму, Молчанье, Звук безшумия, все, все, вплоть до безумия. Безумия нет! Не возможно. Безумье просто и так сложно! Безумье выше и огня, безумье пламень — дух огня. Огонь всех духов, Огнь Идеи... Разумность Бога, хитрость Змеи. Идея краше тел — Сон, ночь... Так матери моложе дочь, так чувство выше выраженья, так прозы выше песнопенье, и так венец горы — горы... С блаженной той святой поры, как ты, идею поняв эту, одной душой явилась свету, матерью бросила свою — Тебя я утром ем и пью, и Божеством я называю, все выше, выше возвышаю. Я говорил — и слушали меня... Слов отзвук кушали... Звучали... Говорили Эху Звук, слово, словно смех ко смеху. Отлился отзвук в черный гром. Я с жаром говорил, с огнем. Бывало, недоказываю, Наивность тем наказываю. Ведь доказать

возможно все: что ручка есть меча лезвье, что небо Агнец, иль овечка, что Лето греет миропечка. Ведь доказать могу я все: что Ваше, Наше есть Мое, и что Вчера лишь Завтра Будет, и что Сон вечный Явь разбудит, что солнце Хохот, смех земли, что возгордился в грез дали и на небо взошел лучами, оттуда льется к нам речами... Ведь доказать могу все Я: что млечный путь есть чар ладья, в коей катается девица, всех песен мига звезд певица, и что времен Грядущее жены чело есть сущее, оно имеет вид ребенка, его ребро, как волос, тонко... и что полмесячна Луна собака злая, что Весна от цепи мысли оторвалась в волнах, зыбях ума плескалась. Ведь доказать я все могу: течет река на берегу, и Горы ниже той долины, и что крайней нет середины. Бьет доказанье на повал мое... Ему я доказал и строго-строго и научно, — оно с Наукой не различно, что Прошлое идет вперед, что от экватора ход вод, что Сатана добрее Бога... Вон чрез окно видна дорога, дорога-путь в костел идет, с костела и назад ведет. В костел идут бабье и девы, их весело звучат напевы. Движенья их медвежие, а щеки ало-свежие, а лица юно-молодые, светилу, лету, дню родные. И грудь так высока у них, вот к небу улетаёт стих, и на ходу он кувыркнется, назад, вперед, в такт, поддается. И грудью этою, — ему я доказал, рассеяв тьму понятий, — Прошлое кормилось и с Девою святой сроднилось, и Грудью держится земля... С костела, Бога снов хваля, со Девой Прошлое опрятно идет, и с ладаном приятно пахнет; глядь, Прошлое здесь... Там... И опустеет Знанья храм. Мы новый храм воздвигнем Деве, от — к деве — летописи древо. Ребенок, Дева, Вечный Жид, Кузнец, Один — стар мир обид разрушит, новый созидает... Меня ли доктор понимает?! Люблю Твою грудь белую, люблю Твою грудь спелую, она источник млечотечный, она источник жизни вечной. Питала Грудь Прошедшее, питает пусть пришедшее, и Будущее пусть питает, моя идея прилетает. Грядущее — Прошедшее есть Время сумасшедшее, и сестры близнецы ведь оба, носила времени утроба... И Дева грудью своей кормила их так много дней;

она их родит, плотит, формит, она их вечно-вечно кормит. И как в морях жива вода, грудь не иссякнет никогда; как Бог всеильный грудь могуча и как Безумье ключебьюча. Увидел Деву молодую, взмолился Пола голоду и, бросаясь чрез окно, за нею пустился с криком я: „идею Безумия из Бытия груди и действ Наития кормите и родится Ново ис пламени, из млека Слово“. Кричавши гнался я за ней, не добежав к концу аллеи. Они! Они! меня поймали и злой веревкою связали. О, если-б молоко всосал той девы красной, я бы дал и ново слово, ново время, и новой мысли, чувства племя. И Время я бы сотворил лучисто, словно дух светил, и без седых трех измерений и без известных направлений. И Время было б целое, как пена волн струй белое, без Кантовской мышленья формы, без всякой лживой, строгой нормы. Затем ужь народилось бы, как Чадо Творчества судьбы, и место без струн измерений, пространство безо протяжений... Я создал бы! Я б сотворил!! В груди той Девы бьет ключ сил, но прокляты Они не дали, исчезла дева та в печали... В тумане скрылось Божество. Со злого Времени того груди ходить в Костел престали, и омрачились светодали. И, образ девы раздражня, в другую комнату меня перевели, что прежней ниже... по их словам она же ближе к Луне, что народится нам... Не верю доктора словам. По моему родится Время, когда созвездий светлость, племя, и во главе Луна, сойдет ко мне... Я поцелую в рот Ее, да, в рот, в рот, ротик скромный, а не в уста ее, — Бездомный! Знай, в свежи, розовы уста целую лишь одну из Ста. Знай, Я и Ты два поцелуя, что суть Один... Души крас сбруя... И было в комнате темно, и я взобрался на окно. Оттуда прямо же на древо, луна мила, нежна, как Дева спала тихонько среди ветвей, таясь в капризах туч аллеи... Мгла ночи... Там, между лучами спала с открытыми глазами. Она — царица сна ночей. Оделся и пошел я к ней, я тихо шел, тьмы не волнуя, ей дам заветы поцелуя. А хочет ли — ей не спросил, я знаю девственность светил. А поцелуя кто не хочет, то плут и голову морочит. — „Они для человечества,

что Царь, Бог для отечества" — так Ты — о, помнишь! — мне сказала тогда... и тяжело вздыхала. Ведь было это же тогда, когда горела рек вода; в лучах потухшего купались мы — ночи темной испугались. И было это же в те дни, когда погасли все огни, в качелях мы еще качались, с падением с высот видались; и было это в те часы, когда вдруг вздрогнули весы, и пустота нас одолела и жизнь смертельно заболела; и мы сошли с своих высот, — тогда в день, в вечер страшный тот была бледна Ты и устала и еле слышно мне сказала: „Они бич человечества, и гибель струн отечества, уничтожение человека и мига, вечности, и века“. — Не доказав, я доказал, я говорил и я пылал, горел я Словом и Зарею, горел, горели все за мною. Горел — все от меня зажглись, с гореньем „Браво!“ унеслись. Горел, я был их зажигатель, по небу пламени летатель. Горел я Словом, я горел. Огню я оду мира пел. Слова, сердца, глаза горели — имения заплеменели. Темнеет ночь. Я ехал, шел. И я гора, и я сам дол. Я конь, я путь и я телега, я всадник и поспешность бега. Не еду я, а я иду: не мчит меня среда, среду я двигаю, одолевая, себя ей противопоставляя. Темно. Ночь. Небо заревом об'ято, гнева маревом... И небеса огнем смеялись, и искры красно ухмылялись. Богов улыбочка огня, напоминает светлость дня. Иду я ближе, ближе, дольше, горит, горит все больше, больше... Темно. Ночь, а кругом светло, горит усадьба, дом, пот, зло; горит хором, гнев и Богатство, горит презрение, злорадство. Иду, я приближаюсь; пожаром освещаюсь. И слышу я кричат: „спасайте!“ Молчит кругом: „скорей сгорайте!“ Мужчина выбежал нагой, он весь дрожит во тьме ночной, с вз'ерошенными волосами, расцвеченный огня косами. Ребенка на руках держал, ребенок плакал и рыдал, он положил его в телегу, — назад в дом со всего разбегу... Вот выскочила Мать, жена, пожар застал в об'ятых сна, в одной рубашке... полнагая, как древней Книги Ева рая... И волосы рассыпаны, вот выющейся красы Паны, смолисты черны и красивы, из золота, из огня отливывы. Как чудны были волосы, венец златой, гор полосы,

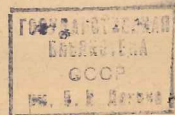
греха вороны в ореоле огня... и гнева в своеволье. И обнажена грудь ея, что сотворил резец, вая. Темнела мгла кругом... Гнев светел, и гнев пылал, горел... Заметил: в руках она, как дар, несла премилу девочку... спала она, проснулася... раздался крик, плач... Бог Бога испугался. Спросила: „Папа, это что?“ Отец держал в руках пальто. Без слов ответа и без речи накинул ей пальто на плечи. — Садись! Уедем мы сейчас!“ Послышался отцовский глас. И к окружающим: „спасайте! Коров, коней всех выпускайте!“ Тишь пред грозой. И в этот миг раздался страшный, томный крик. Послышалось коров мычанье и лошадей предико ржанье. И темно вздрогнула земля, и страшный плач рыдал, каля, и воздух воздыхал слезами, животными вихрей грозами. Оглух, немел огня трезвон, царит один мычанья стон, его глас утонул в стон-реве, в животном, диком, страшном гнев... Казалось, что сколотил огонь Быка глас из всех сил ревущего... Два гласа слились и звуков волны заструились. — „Скорей уедем, а то нас растопчут“ — молвил злобный бас; и плач, и крик детей раздался, и с плачем матери смешался. — „Что плачешь? Что?! Детей спасли. А больше? Больше нужно ли! — За причиненные убытки уплатят кары, штрафы, пытки. И вот телега помчалась, и вихрем вольным понеслась; вдруг за ворота зацепилась и колесо чуть не разбилось! — „О, бедный, ноженку сломал!“ И плакал он, стенал, рыдал. — Поедем к доктору! Скорее! Телега понеслась быстрее. И мигом скрылася в пыли, в зловещей, черной тьмы дали... Вот лошади, быки, коровы; их раз'ярены слышны ревы. Глядь, прыгают вокруг огня, огонь заманит их, дразня. Неистово бесятся, кружась, и с близостью огня подружась. И неба испугались, и с ревом вдруг помчались в похмельной, дикой пляске, — в поле! Всемчанья дикое раздолье. Корова задымилась, балдев, шалив, взбесилась, мычит, ревет смертельно, страшно, усилие ея напрасно. Вот поднялася... и понеслася... стоит, как б с местом искр срослася... Вновь мечется, в траве валяясь, и о землю тяжело ударяясь... вот поднялася... круг... полукруг чертит и грохнулася вдруг... Лежит...

встает на задни ноги, предсмертны дики судороги. Огонь пылает и трещит, про месть он местию рычит, про гнев, про злобу и про кару. О, мести Бог подобен дару он своему. Огонь пылал, и сказку огненно сказал, сказанье злости человека, предание во век от века... И светло стало вдруг как днем, там крыша вспыхнула огнем, сверкнула искры именами, чертит загадку письменами, что Человек тьме загадал. Язык огня огонь лизал, кровь искры пьет и выпивает, и пуще прежнего пылает, и ярче, и пьяней горит, и к Ночи Небу говорит и воздуху рассказывает, и Словом Зло указывает. Он говорит огнем, что кровь, что первая сердце Любовь горит... Ее жжет мысли грозной в душе проснувшийся гром слезный. Деревья вдруг проснулись и светло улыбнулись, и думали: ужь рассветает и ночь бесследно исчезает. И темно вздрогнула их тень: „Боюсь, боюсь, идет царь День!“ Зарю иль утро мы проспали? Пора вставать!—деревья встали. И ветви просыпаются, верхушки золотом омываются, и листья говорят с лучами зорь розовыми языками. Лобзуют искры их и жгут, явь поцелуй берегут... И птички резвые проснулись, и щебетаньем улыбнулись... Огонь! Зря испугались, умчались, разбежались Туда... во все четыре страны... Да, штаточки порою странны... Поют оне лишь Солнцу, Дню, но не поют оне Огню, огня и пламени боятся... хоть Дни всегда в огнях роятся. Прошло мгновение одно—кто выскочил через окно? да, выскочила вон собачка и вся она огня горячка... И шерсть на ней горит, визжит, стремглав летит, бежит, и понеслась огня стрелю вон к ручейку стезей прямою, и искры сеет на своем пути, и трепетным огнем трава суха вдоль вспыхивает; сейчас же блики лихо тают. Но вот ужь валит дым столбом, темнеет, мглоет ночь кругом, дым темный, грозный, теплосерый, знак слепоты страстей и Веры. Дым—Потухания Лоза... И я закрыл свои глаза, и темноту увидел ночи, и мне слепит Дым светлы очи. И горестно вздыхала грудь: О, Бог, огонь без дыма будь, да было б вечное горенье и вечное сердце влюбленье... Огонь без дыма у меня, без ночи День, тишь спит, звеня... Гроза и бури вихрь без пыли, и

сказки дивные без были. Огонь мой Бог, а дым мой враг, мой Сатана и смерти страх; огонь был красен, дым был серый, явился он как Ворон Меры... И серый Дым огонь победил, померкнул лик огня светил, дрова в золу испепелились и красны в Серы превратились. Вчера я видел дым валил из дымовой трубы... взвопил я, закричал: „боюсь Дыма! Дым сила есть несокрушима. И сторож мой вошел, ему велел прогнать я дым и тьму. А он—окно тотчас завесил... О, глупый страж, кого ты тешил?! И сторож временами глуп, Науки мудрой мудрый труп. Завешено окно—Дым вижу; золу, дым, Пепел ненавижу. Дым чрез окно полз бешено, хоть тщательно завешено. Дым всюду валит и клубится, дым пламени огня убийца! Показывает мне язык, мигает мне как Серый зык, меня он дразнит серотою и дымной, мертвой пеленою. Злой дымности я не сношу, ее серпом души скошу. Дым сердце злом окутывает; и серотой опутывает. Я принялся кричать, орать; я бросился бежать, удрать. Дрожал как кистья сновидений, я тряся, словно лес осенний... Страж показал мне чрез окно, что дыма нет уже давно. Где Нет? Как Нет? Лишь в небе Нету? Идет Дым к дымному Совету. „Они“-ли чуть не стал мне Он, настолько груб его был тон. „Есть!“ говорю, „есть!“ сказываю.—„Нет!“ я же Вам показываю. Я есмь Огонь, Они суть Дым, что стелется по голубым и чистым небесам... Горенье—я, дров сырых Они шипенье... Огня я Песнопение, Они—одно дымление. Они—Дым серый без горенья, ночь темная без сновиденья. В сердцах сказал ему я раз:—„О, пахнет дымом тьмы от вас; мне запах Дыма ненавистен, кто Дымен, тот не безкорыстен“. Он мне вопросом отвечал, как бы наивно вопрошал: „Да неужель Вы не курящий?“—„Чурбан, болван! Я не дымящий!“—подумал я, но не сказал, от гнева я заскрежетал. Они—дым серый в сером дыме, они—Рим рабства в рабстве Рима... Они—Дым сераго огня, что Свет темнит, белсвет дразня. И в нашем тускло-темном мире горят, живут огня четыре. Четыре есть ведь дважды два, в численья море—острова... Огонь всекрасный, черный, белый, послед-

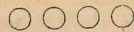
ний самый дерзкий, смелый. Он есть огонь и пламень дня, и Красный Сон ему родня. Три — это все-таки четыре, что уже, то быть может шире... Ты знаешь временами Три быть могут две родных зари, Один сын... три и есть четыре, бывает всяко в нашем сыре. Вот Я и Ты мы суть ведь два, и все-таки одни едва, мы были два, Один мы стали, и это все уже признали. И даже доктор молодой и он согласен в том со мной, что Ты живешь да поживаешь и у меня что день бываешь... И он сказал, что больше не придет, когда наедине мы... Он просил лиш позволенья прийти узреть раз излученье твоих чарующих красот с небес светил красы высот, что как Гармонии откровенье... твое зреть хочет появление... Он говорит, что сторож мой ему Тебя назвал Луной, что волшебство стихов Ты Фея, и что Богини красивее, и обаятельна, как Миф, как Песни песней Суламиф, тиха, кротка, как Речь Преданья, и радостна, как Расцветанья. Прийди! ему я об'явил, пусть всем сияет лик светил, свет от того не убывает, что всех и все он освещает. Он обещал престать курить и Богу дыма не кадить, пойми: порвать завет свой с Дымом с Ерусалимом в разрушимом. Есть три огня, но дым один, он потуханья сень долин, всегда Дым серым был и будет, любви Чернь дыма не забудет. И Доктор молодой — сверхдым... Он идол к идолам святым, и угасание он любит, и сумерки, и тьму голубит. Я на Тебя лишь посмотреть ему дал, более — не сметь. И чтобы он не смел подслушать, беседу нашу ухом кушать... Я этого не допущу, пред ним боюсь и трепещу. Мы хоть молчим, молчим глубоко, наречье наше превысоко... Я не хочу, чтоб Он, — „Дымим“, узрел наш тихий Херувим уст слов и языка молчанья, сердец Любви души Сказанья. Он может задымить его, — боится Дыма Божество Любви... Как дыма я боюсь, о, Боже, как на дым я злюся! Он может придымить его хоть средство против кознь Того есть у меня... Да, против дыма есть сила сил ненарушима: мне стоит раза три пропеть, как Черный петушек в мир-клеть — и Дым сейчас же исчезает и, словно миг, вмиг умирает. Ты знаешь Черный Петушек поет... Его сипл. голосок и свеж и утреннь и пре-

ривист, и цел, и связан, и отрывист. И крылышками злобно бьет он, шею вытянув поет. Ему искусно подражаю, и этим Дым уничтожаю. Сегодня так и сделал я, когда Дым серый без огня зрел, гневался, сердчал и злился, и тотчас к средству обратился. Нет! Нет! Лишь облако, — не Дым, неслось по небесам родным, плыло и плавало, шалило, и небо чистое грязнило, что улыбалось синевой, лазури чистою волной, меня пленяло высотой, одной манило чистотой. Ты знаешь! Облако дым есть, как Солнца хвал, слав дым — есть лесть. А дым Любви, — страсть сочетанья, измена дружбе — дым признанья. А сердца серый дым — есть грех, а песнопенья дым — успех. Сознания дым — мысль угрюма, а песни дым — крик, гул, гам шума... без ритма волн живых к живым... Они суть мой Твой Серый дым. Да, видел облако я грозно плыло хоть туго, но не слезно. Я испугался и кричать давай! И облако ругать... Но делу не помочь ведь словом, искал спасенья в средстве новом. Я черным Петухом запел и воздух вздрогнул весь и млея, я пел, я пел, не унимался, пока мне звук не окликался, ответил громовой волной, и Серо облако водой, дождем и ливнем разрешилось, и, наконец, исчезло, скрылось. Ты знаешь, дым не есть вода, как ночи тьма не есть звезда, и как песок сыпуч — не камень, вода — огонь, огонь и пламень. Огонь — вода и дождь — вода. Как против ночи ест звезда, так против тучи, дыма бедства мое есть ново, чудно средство. И туча слышала, Я пел, поморщилась от звуков стрел. Ты знаешь, облако ведь слышит, все что плывет и жизнью дышит, то слышит... Время ведь плывет и слышит нас когда идет. Да, время слышит хоть не ухом, но все мы слышим чутким слухом. Услышало то облако, лица лишилось облика, и почернела от испуга в бессилье гнева, как подруга. Смешно! Безпомощно оно, почуяв черное Вино, исчезло и ушло в тень царства, где „Нет“ воздвигло государство. „Да“ есть огонь, а дым есть „Нет“, и дым есть тьма, огонь есть свет, а облако есть нет, нет к нету, плывет не „за“, а „против“ свету. Знай, Я и Ты мы суть „да“ в „Да“, источник Ты, жива вода, что первое Да выбивает, и вечным Да он исте-



кает. Я твоего светила луч, источника того я ключ, чем лунность, ночь Ты осветила, и Я есть Да, мое Да — сила. Они суть „Нет“, Они суть Дым — и облако ушло к родным... Я видел к Ним Оно уплыло, — в мешке ли утаится шило... Пусть будет вековать у них, Дым есть их проза, дым их стих. А у меня, глядь, небо чисто, огонь и божество, лучисто... И Словом Божьим я горел, и гласом громовым гремел, гром, молния суть Песнопенье, огнем горели и именья. Горели пруды и леса, и пламенели небеса... И ночи заревом светились, но в белый день не превратились. Вода ведь тушит, тем темнит, когда же хочет, то горит; огонь огнем так омывает и тем его и умножает. Все в воле... Я тогда горел, когда гореть желал, хотел. Горели лишь Тогда именья, когда имели Побужденья. Я поднялся и Богом стал. „Да будет пламень!“ — он сказал. Огонь и пламень выше света, огонь богов, завет завета. Он создал мир, светила свет, величье Да огня — есть Нет. Огонь и мир, и свет разрушит, огонь зло темное потушит. Огонь жжет, светит и горит, огонь и создает, творит; в его вселенной разрушение кует созданье и творенье. В огне родится зорь заря... И говорят, что я, горя, стал перед лампой на колени, молился Пламени я в Пеньи. Пусть „Да“ и верно все же „нет“! Ведь я каприз — мудрец, ответ. Да это совершилось, было — существование родило, сшило его, но лишь то, что должно быть, не то, что есть — мне родно. Не Я! молилось Не - Я, перед огнем благоговя. А сам не буду я огню молиться, я огнем гоню огонь. Я есмь Огонь и пламень, Я Пять и огненный экзамен. Я пламень и Огонь времен, Я пламень слов и букв письмен, которые в огне родились, огнем росли и возрастались. Я перваго огня огонь, Я броня огненных всех бронь, слагаемых огней Я сумма, Я пламенная мысль и дума. Река огня на берегу огня Я, буду жечь, жжег, жгу! Я пламенел, я пламенею, люблю я огненность, Идею! Я ехал, ездил, раз'езжал, горел я словом и пылал, и искры в стороны летели, песнь Пламени Огни все пели.

горю!



IV-ая ПЕСНЬ.

к тебе:

Я ехал, близился к Тебе. Судьба гляделась в судьбе! Меня звал голос... и тянуло... и направление свернуло в край, в сторону и к стороне родной и к бурной тишине... Звал глас из сердца исходящий и речью сердца говорящий к струн сердцу. И звало Меня... И Я пошел навстречу дня светилу, что в душе родилось и сердцем молодости билось. И Случай добр меня привел в град мой, в град Твой... Кто изобрел Твой — Мой? Мой — Твой есть наш и наши, шатры, кочевки и ягдташи... Я говорю Им, что Мое „Мое“ есть, а в понятия все; „мое — мое есть“ — возражают „Они“ и сим уничтожают. Дажь думать брошу я о них, ведь слишком самоценен стих мой, слишком трепетна и гибка мысль, слишком вешня умоскрипка, сердечна и нежна струна, как песенной реки волна, когда зефир по ней гуляет и звезды, луну усыпляет, — чтоб посвятить их чары Им... и слишком молод Херувим души моей, чтоб Чувствокрылья отдать борьбе со тьмой засилья их... В древности сказал мудрец, его главу святой венец венчает: „лишь о том, что ценность имеет и достоинств пенность вы думайте и мыслите, считайте твердо, числите!“ А ценность, истина есть Ты — Я, всех правд и истин рог и выя. Я мерило всеценности и мысли чувства денности; да все из Я, как часть исходит и к Я, к нему, как Я приходит. И мысль моя летит, идет, по волнам буйных дум несет себя в чувств пенящемся море ко Мне, к Тебе с Не-Я во споре. Противник я летания, хождения, витания, противник ярый я вертенья, долбленья, мыслей просверленья... Я чуть заметна крошка — „За,“ я отрицания

гроза, и Я велико, мощно Против, верхушки всех красот ив моих качают мне главой преотрицательно. Ходьбой не занимаюсь — плавать нужно! Не плавать и не плыть — течь дружно! Течь — плавать в жиденькой среде... как миги звезд в ночной беде... гонимый, внутренно несомый, хоть без мотора, но влекомый... Без акта воли ты течешь, как бы чужой, себя несешь... Я волю что и уважаю, цену ее я твердо знаю. Но слишком напрягать ее не следует. Она есть все. И потому ее избежно пусти в ход жизни и надежно. Она как Лук и как Струна, как Мысль, как Чувство, как Жена и как волна, что мчится, пенит, а вдруг, того гляди — изменит. Да! нужно течь, течь, как вода, течет, как Время, как Беда, как Место, что течет как б в месте стоячем, что брожение в месте, частично премещаяся, как брызги крас, вращаяся, вокруг оси красоты текучей, вокруг себя самой плывучей. Течь нужно, как крылатая мысль, дума дум изъятая из здравомыслия... как шума деревьев глас в лесу угрюмый, как мысль по поднебесию Безумия, прогрессию чертит, играясь Речами, и пишущая снов мечами. Да! Нужно течь, как струн роса! Да! нужно течь — как небеса! Я — на пол! не на пол, — на землю! Ее течению я внемлю, на землю бросился, сказал, „Несите, мчите!“ — приказал волнам, зыбям земли теченья вокруг светил ее вертенья. Уж сколько лет, как я хожу, в ходьбы болоте все лежу, процесс мне этот так наскучил, и весь меня он обеззвучил. Ты ходишь, бродишь и бредешь, до вечности ты не дойдешь... Через время и его владенья не прешагнешь ты без умения течь, как Жизнь, Время и Бытье. Искусство течь — есть все и все. Течь, как огня кровь в жилах Слова; Течь — новая идей основа. Все то, что Ново есть Мое, и в новизне мое житье. Отец я новых всех событий и изобретений, открытий. Я ново междо-метие и Правды долголетие, Век электричества и пара мышленья я, земного шара ума, Дум — я шестая Часть; я льва зияющая пасть всех истин диких, новых, вольных, всех чувств предчувствия рокомольных. Безумия я материк, часов Бессмыслицы так-тик; я мир безумия в безумии, я

плоскость в глубине раздумья. Я бросился... волнам велел меня нести — Я так хотел! Волнам души, чтобы носили меня, велел я, во сверхстили. Не рыба я — ведь не течет рыб-рыбка и дажь не речет; лишь плавает, плывет, ныряет и глубь порою измеряет. О, рыба ходит по воде, не уподобившись руде, что внутренно туда стремится, Туда, в даль... в далей даль ручьится. И я хотел бы вечно течь, не как Письмо, как устна Речь, как Жизни и измены роли — и устоит что против воли моей? Ведь воля воле сильнее и хода вечного идей, природы властных всех хотений, законов строгих вожелений... Знай, у природы воли нет, она безвольна, как предмет, а есть хотеньица ничтожны; учения про волю ложны. Я силой воли одарен, сильнее Природы я, как Сон действительности раз'игривей, резвей, вольней и шаловливей. Моя сверхволя дикий Гнев, в лесу Создания Царь-лев, и все способности духовны ее рабыни чистокровны. Кто не за волю воле мою, будь Против — Я его пою, будь против и борись со мною небесной силой иль земною... И если-б захотел я — мир и безконечность, и эфир, и десять высших сфер, и болей — моею б уничтожил волей... но этого я не хочу, и волею владеть учу. Я всемогущ — и при хотеньи держу себя в повиновеньи себе. Я воли сил пиит. И мир на воздух весь взлетит и с воздухом, с эфиром, с Богом, и с воинством, с небес чертогом в тот грозный час, в тот миг, часть дня, когда взжеляет этого Я-Я... Кто выдержит напор Желанья, что сильно, словно умиранья?! „Наш мир, как воля“ — мог сказать профан, два тома написать, кого умом Бог не обидел, который никогда не видел ни на яву и ни во сне, ни в шуме и ни в тишине, и ни в блуждании, ни в скитании, ни в вечном мировом искании дажь тени Бога Истины, дажь Тени света у стены, что я безумьем нарекаю, над разумом и возвышаю. Есть Воля к Воле — Человек, лишь Воля есть его миг-век. Свободной волею своею он создал вещество, идею, своею волей создал Мир... и сотворил высей эфир; он волей мир уничтожает и новый снова создает, все с праздною скуки и тоски... Я против физики —

ростки! — Я признаю, я отрицаю, опровергаю, утверждаю. Становится, рождается, растет Я, крепнет, мается лишь в отрицанье и признанье, лишь в Разрушенье, созиданье. Я создаю признанием, творю я отрицанием. Я мысль творю, мысль разрушаю, я мыслью мысль уничтожаю. Я выше Бога, — истин Бог, я все могу, как все я мог; я сам себя родил... родила меня родная мать... и сила святая жизни естества; но я, что чист, как синева, себя самим собою родит, Себя в самом Себе находит. Рождает старо — ново я, как ночь рождает слово дня. Я захочу — и Я родится сегодня... захочу и не явится. Рождает старо — ново я, как пламень льется из огня, и ново родит — Я новейше, Безумье родит — ум умнейший. К Тебе я стал вдруг близиться и выситься, и низиться. Душа свиданьем трепетала Своим-Твоим и новой стала. Не покоряюсь судьбе. Свободно, чую, я к Себе иду... Я был в полоне. Я к радости иду... был в стене. Паломник — пилигримствую; Твой град ерусалимствую. Цвести мне сердце стало, по вешнему залепетало в тиши груди таинственно. Горело впродолжение воинственно. Теперь цветет. Огонь вдруг в древо оборотился, — право в лево... и в древо высокое, что в небо одинокое... Духовный нищий я, бродяга, я дерзкой вечности отвага. Свое „Я“ я разоблачил, и на-голо я обнажил; остался я без облаченья, как воля без пут принужденья в ласк этике. Велел ему, чтоб он пошел, шел к Самому себе, в себя вошел... Чтоб руки входили в уши, словно звуки, чтоб две ноги вошли в живот, как входит в хлев рогатый скот, и чтоб вошли все пальцы в щеки, как в реку тихие потоки. Интеграция великая произошла предикая. Себя я бью — Они сказали и мне мешать Они желали. Ясна, светла сверхцель моя — не понимают ведь меня! Я шел к Себе, в себя — профаны! И я бродил чрез Я-туманы к дневной и светлой вышине, что кроется во глубине пастушьей вечера свирели... И я достиг великой цели: сложенье об'явилось, земле — Я-небо снилось, великие Я вместе слились, самим собой обогатились. Я может оплодотворить я, самого себя родить... и тайна велика — миг блика! — сия, кто не зрел

светолика Богинь Безумия Богов во-веки не поймет сих слов. До сей поры я не решился развить сию мысль, как бы душился. Но я смею с каждым Сном, мой кругозор прозрел кругом... Работает неустрашимей мысль и смелей, несокрушимей. Беру Я, покоряю, гну одну безумия страну вслед за другой... Я — к поцелую. Я сумасбродством торжествую. Я — праздник! Мыслей я алтарь! Безумия вино — великий царь! — я лью богам умалишенья, богам безумного мышленья. Я старость, физику предаю забвенью и себе создам я физику умалишенных, ассоциации ускоренных. Вне места мысль находится, вне места место водится. Вне места Тело при желаньи, при тайны мира разгаданьи. Был у себя, я шел к себе, есть путь борьбы стезя к борьбе. И было мне так ароматно и сердце билось незакатно. Кровь лилась, благодать росы... Так бьют Веселия часы на башне счастья мирового, все-сердца мира молодого. И сердце билось ключем елея. Счастье кругом разлилось. Себя елеем помазал я... Я — Ты, мы смеем помозанниками Снов быть. Венца нам так легко добыть. Царем я стал чар государства грядущаго-Былого Царства, всесчастья Настоящаго, на лоне жизни спящего. Тебе одной блаженства страны, светила... ведро и туманы. И я в Тебе нашел себя, — смирю судьбу, мой рок дробя! — Я жил в Исканье и в Блужданье, пока тебя в сил рассветанье я не открыл. Я по полям блуждал, скитался по землям, по городам и по деревням, по праздничным дням, по вседневным, пока тебя я не нашел. Добро добр отделив от зол, тебя нашел... и все мне стало и мелким, мелочным — и мало. Я шел сквозь ночь к моей заре, я шел чрез дол к моей горе, шел к Истине чрез Заблужденье, я шел ко сну чрез яви бденье... чрез зиму шел к моей Весне, чрез сумерки к моей луне. Заснул, я создал Сон — проснулся. Я плакал — и вдруг улыбнулся. Не сплю по целым дням, ночам, плыву по мыслия лучам и в море Глубины мышленья, что глубже бездны рассужденья. Творю Безумия мечту, и из лучей Тебе плету венец... Тебе из снов корону я вымечтаю, а Ты к трону иди! Моя царица Ты! Я царь

безумной Красоты! Я ночью поднялся до неба, шел по небесным нивам хлеба, и рвал, нарвал — я васильков, свежи, как духи мотыльков; и ангелы меня ругали, и гневались, и кричали. Но я рвал, сплел тебе венки. А как плетут? К цветку цветок, как звук ко звуку в песнопенье, соединенье и сплетенье. Сегодня у меня была ты, в час когда зари Алла проснулся, я дал — Ты прияла, в небесном снов венке сияла. „К красе — краса блеснулася!“ И мне ты улыбнулася, и весь венок мне улыбался, и Бог угрюмый зашатался. Младой же доктор не пришел. Я улыбаюсь, я не зол. И печь моя, как б ухмылялась. И тишина, и та смеялась. Иду! — Я шел, пришел ко сну. Вернулся я объять весну. И ключ блаженства сердца из дна в груди течет... Моя отчизна и родина, отечество, ты мир и человечество. Мою ты колыбель качала и колыбельную певала мне песнь в ночной моей тиши — ту песнь, что льется из души, — и сердце звуком обвивала мое, тоску, Боль унимала, и средь грез снов, как средь струй вод волной мчала... Ты мой народ, отчизна, мир и справедливость, и добродетели игривость. И от дороги я устал, и от скитаний... Отдыхал я в мыслях, в сердце на Коленях твоих, и на груди в моленьях. И на твое Плечо я сел, лесною птичкою запел; лилася песнь, лилася Радость, и молодеца снова Младость... Меж мраморных Твоих грудей гнездо себе свил из идей светила Сна... Скрылся Луною средь туч... Заплелся вдруг звездою очей я в локонах твоих, что милы, шелковы, как стих, что в миг блаженства нег сложился, и поцелуем обожился... И я улыбочкой почил на роз устах Твоих, застыл и замер в чистом бездвиженье, как в райском песенном плененье. В скитанье я нашел, открыл родник, источник жизни — „Был“. Из этого ключа и пили все Боги и смерть, тлень убили, на жизнь хмелели в сил красе, как Роза в вечера росе, Иегова, Боги греческие, чужие и отеческие. Искал, нашел источник Я, светлее он и света дня, источник сердца в злой Пустыне, и Тела, и Души, и Ныне. Сегодня днем я нож схватил, открыть хотел источник сил, кровь пить свою, кровь жизни вечной из

сердца, груди млекотечной. Стать выше вечности хотел я, и возвыситься умел; я чисел вечностей множеньем хотел стать, диким дерзновеньем; хотел — и этим я бы стал... если бы не простой провал: Они с ножом меня застали и нож Спасенья отобрали. Фруктово древо — куст цветов. Железа холод, теплость слов. Вот два великие начала, на них всю жизнь жизнь основала. Железом высечь я хотел кровь и скалы грудей и тел, и кровью напоил б свою весь мир, материю, идею. Была тогда б Материя вечна, как дочь, мистерия, и как томление по Дали, так человеки вечны б стали. Ведь перед ними Рай закрыт, в забвения земле зарыт, путь к Древу жизни — херувимы его хранят неутомимо, и сказки, байки лживые, гнездо в преданье Рживия, и хитрые наук обманы, и злых причин густы туманы — и берегут, и стерегут, плода нам не дают — сожрут; и средство лишь одно осталось, чтоб жизни краткость, малость в сверхвечность вечно преселить — из сердца, что в груди, кровь пить, да краткий миг, миг сердца дольше всевечности ума — и больше. И я четыре вечности рождены в безконечности: восток и запад, юг и север, Науки Веры лжи шедевр. Я север ненавижу, он мой злейший враг, он белый стон, но вечности его зелены и как грядущность, благовонны... Из ядовитого цветка мы делаем мед, так тоска рождает Песни вдохновенье, пришпаривая воображенье, так из греха разгрязного, творим красу из Праздного, так мы Безумие рожаем в уме, и разум превышаем. Я против атомистики и физики, и мистики. Я признаю, что может тело войти в другое тело смело. Сегодня не прошел чрез дверь я, а чрез стену, мне поверь! Я на прогулку шел чрез стену, и нову физику на смену престарой сотворю, создам, грядущим временам, векам. Они! Они мне не поверят, сомненьем новое измерят. Ты жь мне поверишь и поймешь, ведь Ты ко мне так и идешь: не чрез Окно, а чрез стену. И Твой приход имеет цену, как ново доказательство и естествоискательство, что тело может вникнуть в тело, что физика сказать не смела. И истина есть твой приход, как

дважды два — ума восход. Приход твой что день повторяешь, и истину тем укрепляешь. Чрез стену ли, чрез потолок — ведь ясно, как зари восток, для истины то безразлично, но Ты являешься мне лично. И чем же нужно доказать иль отрицать, опровергать; схоластикой? Иль жизни фактом? Экспериментом или актом? Науки новой факт яйцо! И вот два факта налицо! И кто неверить им посмеет, доказано, как солнце греет? И как Ткачам Станок и Пар нанес сегодня я удар Ньютоновским глухим законам и идолам, божкам, иконам? Хоть от удара у меня голова болит, покой дразня... Но физика уж получила! Удар есть разрушенья шило. Угроза... Дело тут вот в чем, стена виновница кругом, что старой физики держалась и сразу мне никак не далась... Консервативною была... Воззренья древо без дупла... На старом все настаивала, новизн не удостаивала Глухой стене стал доказать, теорию опровергать, на месте словом я топтался, пока мой сторож не вмешался. Как трудно доказать Стене, что изнутри так и извне, насквозь предубеждениями пропитана... учениями. И вывел сторож мой меня чрез целу стену, помню я. — Стена быть может и признала, что прав был я, но не желала со мною согласиться в том, бояся, чтобы от истом Сверхопыта не заболела, стена Стену, себя, жалела. Люблю, ценю, чту Истину я больше, чем свою Стену и Голову, и Ум, и Разум — и Ей я жертвовал всем разом! Я шел, ходил, пришел к Тебе. Вошел в Себя, зашел к Себе. Не выйду я уже оттуда, как из Нирваны вечной Будда. Я шел к Тебе. Вот я иду! И зрю Твой дом. Дверь ли найду! И обнесен он Сна садами, что мрачно говорят стволами. Зима люта! Со всех сторон дом снегом Белым окружен. Он неприступен, как Твердыня... И обитает в нем святыня. Тропиночки проложены, протопганы, исхожены. Меня страх-ужас обнимает, и сердце бьется... замирает: к Тебе ли шли, к Твоей сестре? Нет! „Это шли к Твоей Сестре“ — я утешаюсь и боюсь, и в сердце Богу я молюся: „чтоб все тропиночки вели к Ея сестре — о, Бог, вели! А не к моей весенней сказке, и не к ее струн сердца ласке“..

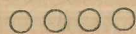
Я зрю тоску моей Души, тропинку новую в тиши я проложил... Вошел... В передней... Я, чую, становлюсь все бледней. И сердце бьется — я горю! Я сердцу: „тише!“ говорю. Взмолилось Сердце грустью к Богу, взмолилось сердце счастья Рогу. Боюсь: „уехала!“ — страшусь „За ней поеду“ — я клянусь. Твоя сестра меня встречает. Привет. Приветом отвечает. — „Когда приехали, пришли? Цветы давно уж отцвели, меняло место лет светило“... — Вино тоски отсутствие пило. С расцвета до вядания, что дольше расстояния... Беседу круто обрываю, и где Сестра я вопрошаю. Заметил я: ее вопрос слегка смутил, обидел... Нос чуть-чуть заметно искривился, а взор немного разозлился. И недовольство трепетно лицо туманит лепетно, уста воздрогнув прошептали „войдите“, тихо замолчали. И не пошла она за мной. Хоть шел к сестре ея родной. Вошел. Стояла ты спиною ко мне и пташечек водою поила, канареек трех. В руке твоей обилье крох, они клевали — так счастливы и в клетке резво шаловливы. Весной, когда земля цветет и небу ласки красок шлет, тогда и пташечка на ветке поет... Сиди зимою в клетке! Зимой во клетке я сижу, и стужи рыб удой ужу... Да! Нет! Ведь это было летом, залит был свет светлейшим светом. Но у меня была зима. Ведь у меня свой свет и тьма, мое Темно, мой зимний холод, мой Урожай... Мой чувства голод. Природы я создателя Царь, и у меня свой календарь. Его природе я диктую, погоды, словно стих рифмую. Я ныне не хотел пойти гулять без шуб тепла в пути, так как встал с мыслью и в решенье: сегодня будет хлад Крещенья. И шубу я свою одел, гулять иначе не хотел, я... вышел, оморозил ногу и руку, нос... И, слава Богу, вернулся чуть живым домой... Трескуч мороз, зима зимой! Хоть остальные все гуляли без шуб и холоду не вяли. Их грело видимо Тепло, у одного, я зрел, чело потело и пот капал градом. Я мерз, я зяб, хоть шел с ним рядом. Моя природа хладною была.. Велю быть гладною ей, слушается без угрозы. — Им тепло, — у меня морозы. Хоть шубу я свою одел, я весь озяб, окоченел. Я в комнату вошел, уселся

насилу на печи согрелся. Да, воскресение — Весна, по вешнему дрожит струна. А понедельник вот уж лето, — одной Тебе понятно это, как дни, часы становятся годами, старясь, новятся. А вторник — осень, не погода, преможно, грустно время года. Зима и холодна — Среда. Четверг — взошла весны звезда. А пятница — горит зной, лето, в субботу — мной Весна воспета. Вот времени мой новый ход. Весны три у меня на гол. А сколько мне лет, Ты не знаешь? И может не подозреваешь. Через лет пять сот, шесть сот, семь сот я с нерождения высот сойду, тогда лишь Я рожуся, — Теперь к грядущему я мчуся... Через семь сот и двадцать дней и месяцев шесть, пять идей и семь недель — тогда явлюся, пока грядущему я снюся. И было это ведь зимой, поила пташечек водой и зернышками их кормила — сосредоточенность есть сила. Водю Ты ответила всем птахам, не заметила меня, на цыпочках, крадучись я шел и весь я был певучесть: „раз пташек можешь так любить, то чувство сердца должно бить одной Тебе“ — я утешался, и счастьем младо улыбался. И эхо ласк всплеснулося в душе. Ты обернулася. — „Зачем меня вы напугали?“, уста испуганно сказали. — „Когда приехали, пришли? И что с Собою привезли?“ Глаза пугливой ласкою смотрели, а губки розою зардели. — „Приехал я сейчас-тотчас!“ И возвела глаза чар крас Твой Ты на меня.. молчала... Лицо Твое алее стало. В тот миг я пташечкой Твоей вдруг стал, и до конца всех дней моих я ей останусь... В клетке твоей сию... и как на ветке пою. Я пел Тебе зимой. Я пел крылом, Я цел душой. Ты в лето мне оборотила хлад, зиму летне вразумила их греть, спеть в красную весну в весенню лунну ночь одну, что бархатно Тебя ласкает и миры Грезы созидает. Умел я раньше говорить, — меня Ты научила пить пьянящее вино Молчанья из кубка светлого гаданья; меня Ты научила петь и средь зимы весной веснеть, и увенчаться роз цветами, и райскими красот мечтами. Ты научила петь. Я пел, и песней вешней зеленел, и цвел и молодел годами, украсился мечты плодами. Сегодня сторожу сказал и, молча, я ему предал,

что стал я ныне птицей крылатых всех париц царицей. Летать всегда ведь я умел, нести по небесам я смел. Со времени того, как видел я небо, высь... возненавидел ходьбу, хождение по земле, ползание, прозябанье в мгле. И понял я, что в этом мире должно уметь парить в эфире. А у меня ведь понимать, постичь — достичь, возможность брать, и понимание — уметь есть — в этом весь мой дикий гений.. И в этом отличительна черта и разделительна от Них, что бездной отделяет, меня в высь выси поселяет. Желанье с Пониманием, с возможностью, с Исканием рождаются все разом вместе, заквашены в одном сил тесте. Хоть я всегда летать умел, но птицей быть я не хотел. Сегодня на прогулке птаху увидел я и звуков взмахи ловил их, как резвились! И радостью делились со мною, баловались, гнались, на ветках весело качались. Я их беспечности алкал и птичкой стать я восжелал. И ею стал и миг возрос я — и к небесам... В выси матрос я... Чирикал щебетал, порхал, летал, парил, летал; не принял я определенной окраски, формы обыденной пернатой... Я был то одной, а то другой, то сна Луной, то аистом, то жаворонком... а то кукушки злой цыпленком. Как молодость я шаловлив и как изменчивость игрив, я перемены светопена, — но я не черная измена. И быть я птичкой хотел, порхал, кружил, крылил, летел. И сторожа завидовали мне, злобы черной вид давали. Стояли кругом все в ряду, сказали, что вот упаду, что лажу я и не порхаю, зеленость веточки ломаю. Вниманья я им не дарил... Круги небесные я вил, ведь у меня могучи крылья, крылю и ширю без усилья. Ты посмотрела на меня и мигом выросли мне дня орла крыло, крыло орлицы, и крылья мысли ангелицы, и крылья Сердца и Мечты, и крылья райской Красоты, крыло недосыгаемости и крылья расцветаемости. Твои глаза — лазурь небес, купаюся на дне чудес приветливых и лучезарных и Радостей мне благодарных. Гвои глаза мне синь без туч и счастьем бьет их дивный ключ. Глаза — и небо и светило, а пташек Ты уж накормила. И оба сели мы за стол. В край слова я с тобой ушел. И я мол-

чал, и Ты молчала, в венце Безмолвия блистала. Смотреть в глаза училась и счастье мне лучилось из них... Всесчастия законы, блаженства светлость, нежность, звоны. И были ночи, светодни, торжествовали в них огни. И были мне они звездами, и по морю волн бороздами. И Я твои зрел волосы, волны змеистой полосы. Я говорил и спрял глазами твой я локоны с грозами. Я золотую нить соткал, и в сеть себя я сам поймал. Поймал себя я в сети счастья души и песни Сладострастья. Я утонул в твоих глазах, окунулся в ласк Небесах, в золотых лесах я заблудился, и замер в кудрях — возродился. Я нынче сторожу сказал, что я себя поймал средь моря истин заблужденья и стану Новью Песнопенья. Я Нови песнь Любви Люблю! Я Завтра петъ себя велю, петъ и играть на арфах струнных, на скрипках, лютных, лирах лунных... Я песнь Безумия всех песнь, я мыслей чувств весна сверхвесен. Безсмыслицы морей я русло и сумасбродства стройность, гусли. И пусть играют и куют меня, мою Песнь, и споют они безумья вечность царства, небесность песни государства. Кто песни Сей не пропоет, в Безумья царство не войдет, и вечно будет он скитаться и в Истине умом плескаться. Кто хочет сей вопрос открыть? Чем завтра утром мне стать, быть? Быть Завтра ли ужом, змеєю? — Решу Вопрос перед Зарею...

к тебе!



V-ая ПЕСНЬ.

люблю!

Помчался ряд дней и ночей.—Сижу я в комнате Твоей. И лик мой стал вдруг томно-смуглым. Сидим мы за столом за круглым. А круглость безконечность есть, кругом да около, как лесть, идет, вертений нескончаем ряд, никогда не узнаваем, как наша круглая тьма мгла, и я с одной страны стола, а Ты с другой. Ты безконечность, а я твоя времен безпечность. Ты рай, а я Твой серафим... Одни мы в комнате сидим. Залита комната вся светом, но дело светлости не в этом. Свет льется из Твоих чар глаз; Твои глаза — пучина крас, и из твоих кудрей свет льется, и свет ко свету в свете рвется. И пташечки проснулись, заре ужь улыгнулись. И день настал бел — утра алость, не любят пташки опоздалость, оне петъ Солнце принялись и звуки дивно разлились; казалось, лето вот проснулось, и солнце вправду к нам вернулось. И не казалось — было так, настал свет дня, исчез тьмы мрак. Зимой — светило дня не греет, лишь светит — и жизнь холодеет... А летом — греет, светит, жжет, снопы тепла нам шлет с высот. А мне светило жгло, и грело, и сердце вешне зеленело, и билася о брег волна. И было лето и весна. Мне небо, солнце близки, близки, и так высоки, и так низки... Душа дрожит, как слов струна, как ангел нежный, что со сна и грезы молодой проснулся, и Богу крыльню улыгнулся. И было лето и весна. Была мне солнцем Ты, луна. За летом мне Весна ходила, и в этом Тайна, Тайна — сила. Ты понимаешь — фаз луна; вот лето, а за ним Весна. Цветет мне лето меж веснами, как речка между берегами, как явь цветет меж райских снов и как молчанье

между слов, и как тропинка меж кустами, как круглый стол сей между нами. И комната залита вся была ласк светом... И краса твоя во свете нег купалась и в море света сном плескалась. Нет! Вместе мы купались и светом орашались. Плыла Ты, а я за Тобою, Твоей влеком, несом волною. И как течение многих вод ты мчишься все вперед, вперед. Мы держим за руки друг друга, и чертится окружность круга. И световолны, светорябы; мчусь за Тобой, но я ослаб, тебя поймать, догнать не в мочи, и тянет свет, влекут тьмы ночи... Звук светов поднялся волной, по света зerkату рукой ударила... И трепетали неслышно звуки горней Дали слилися вместе в света всплеск, был ослепительен их блеск. Глазами я на твой чар Локон уставился — судьба! Мой рок он, рок счастья, рок мой золотой! И вьется он красы змеей, я плыл за ним, держась нитью из чувства, Сердца, мысли витой... А чрез окно единственно претайно и таинственно звезда на нас смотрела, млела, мигала нам и звездно пела. Я знал ее, звезду знал ту, я вплеел ее, ее вплету в венок моих воспоминаний, как звук внесу в рой напеваний моих. Вдруг в небе возросла — звездой мигающей сошла. Светло с сестрою распрощалась, в окно стихами постучалась Стук-миг! Мгновение одно. Я встл Открою ей окно. Не встал, а с места я открыться окну велел: „звезда стучится, стучащему — себя открой!“ Открылось само собой окно. Звезда звездой взлетела, и на грудь тихо, мило села. И я ее хотел ловить, люблю миг звезд ночных дразнить, вот бабочкой она вспорхнула всечистой, светлой, — и заснула... А тут погнался я за ней ловить ее в силке идей. Она исчезла и умчалась, над сетью гордо насмехалась. На том же месте я сидел, Тебе в глаза душой смотрел, а иногда я и всмотрелся в чар шеечку Твою, с ней спелся. Как мрамор и как горный снег, как древ безвинности побег и как волна морей речиста — была она чиста, лучиста! Звезда по комнате неслась, как красота в блаженстве крас. Пустил в нее стрелу я метку поймал и посадил во клетку в груди и сердце грез моем... Родился чувства водоем. Ведь на Твоей

груди сидела она, Тебя Тебе воспела. Теперь жь она в моей груди, и сердце темпом бьет: „иди!“ Запахло грудью твоею Люблю грудей молодых идею. Я лишь Великому служу, и сторожу приказ рожу: „мне принести предлинну уду — удить я в небе завтра буду“. А впрочем, я могу достать удои короткою, как знать? Ведь все что длинно есть коротко, как все что дерзко — слишком кротко. И все что кратко длинно есть. Могу примеров тьму привести. Примерами мне лень возиться, и в доказательствах мне спится. И то же само Кант сказал, его когда-то я читал; вот истина одна златая, он за нее достоин рая. Хоть больше истин там и нет, его наш умный глупый свет философом и прославляет, и разум пред ним преклоняет. Я философию пряду! Велел я принести уду! Уда есть злой бич философии, Ложь в червячке Натурософии. Он удочки мне не принес. А почему? визг, скрип колес. Он мне сказал, что отказалась уда, пойти за ним пугалась. Да неужель наделены уды капризностью Жены, желанием, свободной волей и говорят оне: „и более служить Тебе я не хочу!“ Так быть должно! Я не шучу! Мирился я с ее отказом и взялся я за свой ум-разум. Я полотенце взял, ее им заменил, свернул — вот все. Тут прикрепить крючек пришлось — и это скоро удалось. Я вырвал волос из главы вмиг, как былинку из травы. Тот волос был сребряно-белый, то колос был летами спелый, рос в черном поле и родном. И был, служил он мне крючком. И на крючек я Червь сомненья надел, что точит всемышленье. То дивный червячек — и кит его клевать придет — все спит, я в небо удочку закинул, да в Небо синее... вмиг вынул, мгновение одно прошло! Клевали звезды, сны — светло! На удочку все-все попались, сомнением и увлекались. И я ловил всех их, одну вслед за другой, как стих, что нам приманивает строки, боясь остаться одинокий. И пойманные звезды все, что блещут во всей их красе плывут все у меня в сосуде, как рыбки шаловливы в пруде. Туда живой воды я влил и синеву небес светил. И плавают в сосуде звезды... Сосуды клетки или гнезда?! Там звезды плавают в сини,

в воде сосуда... Бог Агни! Пусть эту ночь спят... пред зарей
Я их сварю огнем, водою. И будет Каша звездная! Кормить
рука возмездная всех нас ей будет. Ведь не хлебом одним
жив Человек, а Небом. Я кашу звездную люблю. Придите!
Всех я накормлю! От ужина я отказался сегодня и прого-
лодался, чтоб завтра с аппетитом есть, еда ведь гладу-хладу —
месть. Небес ночных крас звездну кашу. она Моя, но „Вашу“,
„нашу“ мы назовем ее. Просил меня страж мой, чтоб я ел,
пил, чтоб ужинал, — я отказался. — „А почему? — Я улыбался.
Велико дело есть отказ, он праматерь морали крас. Отказ
велика добродетель, он против страсти темных петель... И
состоит вся этика, лица души косметика из одного самоот-
каза — ученье это, а не фраза! Умеет отказаться — Я, его
в том сила, как огня в горении; и чем я выше, самоотказ
чернее мыши и глубже опускается... Мораль внизу рож-
дается. Мне это сторожу хотелось растолковать; но мысль
не спелась... Она вдруг отказалась ходить... и упира-
лася. И что-жь мне делать остается? С ним с азбуки на-
чать придется... от азбуки безмыслицы... Идут на компро-
мисс лжецы... Вначале были две основы, о, Боже! трудны
предисловья! Он может никогда не знал, иль он забвеньем
захворал. и все что разумом усвоил, забыл, разбил и в нет
раздвоил?! Меня понять он должен был. Ведь он Моим
слывет и слыл. А может это исключенье, которое есть под-
твержденье для правил Понимания. — Я томы толкования
писал на эту сложну тему, составил Пониманья схему.
Методом пониманья звал, трактат тот я, что написал, не
понимают Пониманья, напрасны все мои старанья. Изсле-
довал и изучал, научно и обосновал основ законы Пониманья
и в обученье, воспитанье. „Есть человек то, что он ест...“
Еда есть человека крест! Я накормлю их всех звездами не-
бес, сомнения гнездами. Тогда, надеюсь, поймут они меня.
Поймут. Путь круг. Боюсь, чтоб кушать не гнушались, чтоб
от Звезды не отказались, от пищи звездной молодой, даро-
ванной моей удой... Тогда бытие Мое помянут, и зацве-
тут, и не завянут. Песнь уженной младой звезды, что от-

ражает лик воды! Не буду их кормить насилу, обидно
было бы светилу... Прогивник я насилия, проступок зла
обилия есть убежденья сын... Я молод — я подожду! Наста-
нет голод и Чувства, и Мышления... и тайны оголения. —
Придут на гору с их Долиной души, сердец, придут с
Равниной... Их ненавижу, их люблю... Придут ко мне — их
накормлю; но лишь под словом обещанья, что от Науки
пониманья они откажутся. Тогда пойдет к нам в пищу и
Звезда, и будут нас кормить светила. И астротехника есть
сила! Пока — еще не сварены те звезды чада чад Луны, они
неудобоваримы... Огнем, водой неодолимы... Придется долго
их варить, и не воды, а масла лить, огонь огня умалишенья, и
масло тихого забвенья... Во пламени Безумия их мы сва-
рим; Ты — сумма Я безмыслицы предикой страстной. И,
словно кровь огня, прекрасной. И лишь тогда мы их сварим,
как блюдо на стол подадим. То будет яство — об'еденье, над-
звездность, каша и варенье, и три иль Пять столетия варить,
как междометия, тогда они их кушать будут, и что Они —
Они забудут. Но будет позно ужь тогда, далеко утечет
вода, и что ушло — не воротится, и что придет — Ты, жди,
явится! И новых звезд я наловлю, не Я, а Тот, Кого молю!
И кто вослед за мною ходит; и хоть Не Я, меня возро-
дит. Сидел я у Тебя, смотрел я на Себя и тихо пел. Они
единственны мы были, и все и всех кругом забыли. Тот
Бог, кто может быть Один, Венец творения седин. Одни
мы были — и Богами... Игралась тенью, песнью, снами. Из
снов родилася Гора... Сидела и Твоя сестра. И все таки
одни мы были, и одиночество решили. И выше Бога и Богов,
мы в чувство поднялись без Слов, Мы поднялись и углуби-
лись, и чувством гранились, двоились... Бог есть Один, но
среди чужих, одни мы были среди родных... И среди своих
сестер и братьей, одни и среди своей же рати... Сидел и видел,
зрил, смотрел, Тебя одну одной воспел, Тебя и в Прошлом и
Грядущем, и в настоящем, в сущем. Тебя и в месте, места вне,
Тебя и в шуме, в тишине, Тебя в плоти и как Идею, и как
материю... аллею... Тебя в туманах Настоящего, как Качество,

дух Спящего, что без количества нам голо, и как Жену и как вне пола, как Юность, младочеловек, как миг, что переысит век, и голой Ты была — в одежде, что соткана в одной надежде... Смотрю и вижу, и смотрю, и вещь насквозь я проморою. О, зрячие! смотреть учитесь! Очами видеть ли решитесь! Смотрите и ослепните! видением окрепните! Увидите чист дух предметов, узрите шопот их секретов! Увидите предмета Я, его в себе таит, тая. И у него шесть крыльев было. крыло крыленьем славы слыло. Оно летало, я за ним, носитель, вихрь недогоним. И с неба к небу мы порхали; да вот знакомство, дружба Дали, А с дружбы к небу душ тоски. Цветут в нем чувства васильки. С тоски шаг — к небу душ томленья, с Томленья к небу вождельня... Затем — и к небесам Любви, там Безконечности в крови. Твое Я впереди — крылюся ему вдогонку я, молюся. И я крыло, крыло орла, крыло — крыления хвала! — что от Вина чувств опьянело и на груди луны присело, заснуло... Создало нам сон, сон Дня Грядущий мирозвон; сон солнечный ему приснился, и в блеске солнечном явился. И видел я, Твое Я Сон — и гласом Радости стал Стон! я был во сне во сне светильном, во сне начал Конца всеильном. Стояла на дворе зима, но сон ее гнал, как свет тьма; душа, я видел, поднималась Твоя и грудь заволновались. И Ты дышала мне весной, и летом, светом и слезой, и небом, высью и землею, рождением и Бытья зарею, всеилием и радостью и тела, духа младостью; и слушал Я — Ты говорила, мед мысли, чувства мне налила. Сочился мед и бил ключем, пребелым мраморным лучем. Был бел, но розово резвился, и красной пеною калился. Покрылся пеной Красоты предутренней зари мечты, родились розовые губы, родилось белость, снежность, зубы, как белый парус карабля души детей, Богов моля, как белый снег, снег старца Думы, как млека белость, стройность, шумы. Тебя я слышал и слышал, и слушал... Ухом звук глотал — Да у кого есть Слух, тот слышит, и у кого есть грудь, тот дышит. И слышу я твои слова, что слово, — то синь-синева, Ты говоришь, Ты говорила, Ты рассказала... Мне тво-

рила. Я помню чудный тот рассказ был ожерельем Речи крас, его сплетала Младодева мне в время снов и грез посева... И на подобие цветку... — Сегодня угром потолку рассказ сей рассказать я буду, — я не забыл, я не забуду. Забыть его я разве мог? И навзничь на кровать я лег. Я рассказал и не словами, я рассказал, но лишь глазами. Он, слушая меня, бледнел А от чего? не разумел я... может от того... Я ль знаю? Что я рассказом угощаю — не Ты сама. Завидовал он мне. Гулял обиды вал. Он должен был бы быть счастливым, что угощен таким красивым рассказом, хоть как пересказ; и это в первый и последний раз, и больше я не угождаю тому, чью зависть замечаю. Люблю я снежно-белое, люблю я младо-спелое, но не люблю, когда бледнеют, когда от зависти желтеют. О дряблости он говорит, он гаснет, тухнет... не горит. Я всемогущество — я сила, я незакатное светило! Я слабостей не преношу. Я мощь величием рошу, и я Возможности Действ стили, — пусть гибнут слабости в Безильи. Не слабые, безильные, — А слабости могильные! Погибнет Слабость — слабых нету! Другого не ищи ответу. Просил Тебя гулять пойти я, ибо ширь, что не в пути, казалась мне слишком тесной, а в сердце было много песней... Выходит сердце из груди, как из берегов волна „Буди!“, гонимая ума грозою разлива вешнею порою. И комната им вся полна. И сердце бьет. Часов волна! И вдруг внезапно очутились мы в сердце, кровью озарились... Мы в кровообращения бегу, ласк освящения... И даже стол Твой очутился Там в сердце, с нами он возвился. А сердце ширится, и бьет, как в гроз мечте краса растет, и комнату перешагнуло, и сердце дом весь обогнуло. Я чуял, в сердце утонул, как в колебанье эха слабый гул, Весь дом, Отец и Мать родная, — и сердце ширится, пылая. И в сердце утонул моем и сад, пространство что кругом, и в комнате тесно мне стало, а сердце ширилось, играло, как море, что взбесилось, пен бурею напилось... и берега волной залило, и исступлением взмылило. Тебя просил пойти гулять, просил я раз, просил опять; лицо Твое вдруг осветилось улыбкой, Ты

согласилась. И взяли мертвых мы зверей — не лучше ведь они Царей, но и не хуже, хоть двуноги, и их Законы не так строги... И нескольких лисиц я брал, охотник некогда поймал в лесу их... Греть средю велели Мы им... послушаться не смели оне. И воздух теплым стал, что плотно нас кругом обдал. Как об'ясняется все это: знал воздух, что у нас Здесь Лето и в шею нужно гнать зиму? Но это передать ему могли лишь наши звери Серы, и соответственно все меры и приняли мы к Этому, так летим хлад — к Согретому: в лесу зверей мы убиваем, зиму нам греть повелеваем. Гулять вдвоем пошли зимой, шли звери впереди гурьбой, и шла зверей кругом нас стая, ходили мы, едва шагая. И небо необ'ятное дышало, непонятное высей ночей синевдыханье, звезд бледно-тихое Мерцанье ввысь по небу зажглось и грезно-сонно улеглось; мигать вдруг звезды перестали. их брови словно приустиали... Нет устали ли в небесах и нет усталости в красах? Так зимне-хладны, длинны ночи — и так тоскливы неба очи! А может надоело им светить ночам как еіоіи... томимы, можег, злой тоскою, звезда осталася звездою... Тоскуют по Цветам земли, что так любили в тьме дали лобзать и целовать, лаская, и шаловливо им мигая. Они не находя цветов лобзают бледность шек снегов, снежинки хладны девственницы... не то, что розы, действ девицы... В безцветьи и снежинки цвет — и звезды говорят: „роз нет!“ Снежинкам хладно ухмыляясь с тоски Лобзаньем забавляясь. Снежинки холодно блестяг, и звезды райски шелестят, и по Весны цветам тоскуют, когда снежинок хлад целуют. Мечтают о цветах своих, что страстны словно Новый Стих; хоть о Возлюбленных мечтают, пока — снежинок свет лобзают. Мечтают о цветах младых, о Розах — звезд звездам родных, снежинки хладные пленяя, своим цветам не изменяя. Средь неба ясная Луна, Великая она Одна; по небесам одна гуляет, ночь серебрит — и вся сияет, катается по небесам, в глуби красы по всем красам в претихом легком тучи челне, закутавшись, как гром в молнии... И кто ей сплел, кто сколотил такую крас ладью, челн мил?

Да! облачко ладью ей шило; волшебна лодка легкокрыла! Плывет Она и без руля, пространство Бога днем моля; плывет без весел, без ветрила, — вот так плывет ночей светило! О, в небесах так легко жить! По небесам привольно плыть! От удовольствия сияет, плывет — кругом ночь Тени тает. И по Морю она плывет, а море в лоне чар уснет. Плывет — нет камней преткновенья, плывет, — как Судно песнопенья. Кругом четырехкратная пространственность возвратная... И глубины сверхбезконечность, и ширины пространства вечность, и высоты, и Счастия купания Участия, — все безконечности вкушает: Вись, Глубь, Ширь, Счастье — обретает. Хочу я в море синем жить! И сине по морю уплыть! Уплыть Безумия ладью по небесам ночей Луною! Я лунную тоску люблю. Сегодня лодочку куплю. Я заказал, хочу я в море! Ведь Я живет в одном просторе! Люблю ночную синеву, — того и жди я уплыву! И будешь Ты одна со мною и уплывем одной ладью. Я заказал, знай, утлый чели, он легок, словно пена волн, его я сотворил мечтою, братаясь с неба высотой. И он с одним грозы веслом, и он с одним Красот крылом, с плавилом, и с одной ногою, и с камертоном, струн душою. И писана экзаметром ладья — Лоза... Комета... Гром — с Самим Собою уединяясь, с красой землею опьяняясь. И Ты ведь Я, и мы — один, венец красот высот глубин, ладья та вечно будет нашей, поэзии Мечты крас краше... И место в ней для Одного: ведь мы Одно, Мы для Того... и самоцель... ужь все готово — недостает лишь рифмы „Слово“. И в ней мы оба уплывем, и в счастье тихом и немом, и в безконечности Пространства и всех времен, веков убранства... И безконечность целовал сегодня Я и так устал, и на прогулке это было. Был полдень, солнце зноем слыло, нам слало сноп огня лучей, и день был светел, как ручей, был воздух чист и ароматен, — ведь Полдень вечно не закатен. И видели мои глаза всю Безконечность. „Против — за“... Даль в платьице была одета из поцелуя уст роз света. Даль в платье розовом, как Ты одета в день, в час наготы, когда Ты голою купалась, в воде волною улыбалась. Я без-

конечность пил и пью, зрел, словно часть души Твою, поцеловал ее я в кудри, что вьются, как змий целомудрий.. Поцеловал ее я в грудь „к Покою путь навек забудь“, ее рукою обнимая, вкушал блаженство Бога, Рая. Ее Ты знаешь, любишь Ты! Ты бабка, внучка Красоты. И Безконечность — нам и Наша, хоть собственность есть Кража, Каша. Шли.. Мимо сада мы прошли, и словно глас звенел вдали.. Сад был разубран.. в белом платье.. Красиво слово в крас понятие. Деревья перегнулись через забор — вглянулись.. Они нас видят, знать хотели и пристально на нас сморгели, и видели: обоих нас, Снега манили в Даль, как глас, манили светлым, вольным хладом, и шли мы оба рядом градом. Шли.. Плечи вдруг коснулись, и тела улынулись.. Лобзанье звери пропустили, не трогали, не охладили. Был тих и нежен поцелуй, он соткан весь из неги струй, он отозвался горным смехом и многострунным Счастья спехом в семи ласк небесах души, что говорят молвой в Тиши, эфир миров смычком волнуя — Могучесть, сила Поцелуя! Он Слово, Он Язык, Он Речь! Он Арфа, Он Кинжал, Он Меч! И Он спасения волн Пена, и в нем дана была измена.. Я Безконечность целовал, век времени протестовал — „зачем меня Ты не целуешь и все лобзания даруешь лишь Безконечности Одной, завидую сестре родной. Я — время, места я смелее, я — чистая душа — Идея!“ Ему на это отвечал я: „не пространство целовал, а Молодому безконечность, — пришли Ты мне твою Дочь, Вечность, и поцелую я ее.. В ней жизнь, в ней гения Бытье.. Живу я к ней одним Стремленьем, и Вечность дышет Песнопеньем моим.. Пришли Твою мне дочь, она, что вешность, лунность, — ночь. Я вечности узду и сбрую сковал, песнь молота рифмую“. И Время не ответило, моих Слов не отметило: „Дочь любишь Розы Аллилуию — иди к Нему — и к Поцелую!“ Была же вечность на горе, окутана вся в крас заре, ее оттуда Время звало, и Вечность тихо отвечала: и Поцелуй, и Молодость люблю! Приду! Я гола — гость спит у меня, с ним забавляюсь, со Случаем уединяюсь“

Она придет, она пришла, меня уже там не нашла.. Я в Комнату к Себе вернулся, под тяжестью свода гнулся.. Скучал и плакал, тосковал.. и пустоту я целовал. Светило-Вечность усыпили, ее ко мне и не пустили. Мы шли — а сад на нас смотрел, и под ногами снег хрустел.. Проснулся — спит во сне пресладком, и сад смотрел своим порядком, деревья же своим. Они нас провожали, словно дни, что мчатся, мимо промелькая и ночь повсюду провожая. Деревья знают все меня средь ночи, утром, как средь дня, узнают, я сегодня видел, как дерево Один обидел. Он древо топором срубил, проступок сей меня взбесил, хоть древо было не младое, а дряхло-хилое, больное.. — „Эй, Ты, убить его как смел?“ Как лев со злости я ревел. И начал он, душой кривляясь и предо мною извиняясь: „Ведь дерево не стих, сонет“. — „Не изрыгай хулы клевет!“ — Я крикнул — „Дерево страдало и от болезни изнывало, а смерть страданиям конец, вершины жизни чар венец“. Да, пессимизм — чудна Идея, но ведь никак не для злодея! Его повесить я велел на дух древ, что осиротел. За зуб — зуб, око же за Око — а разве это так жестоко?! Он смерти верно заслужил, ведь дерево он уложил. Его повесил я во гневе на им обрубленном же древе. Кто против древ, лесов, цветов, тот против и меня, и слов моих.. На дереве, как птица, живу, как в грез мечтах девица.. Пою.. На древе младости я свил гнездо всерадости и сонно-тихого Раздумья, блуждая по лесу Безумья. Мой сторож вышел и сейчас вернулся, показал: как раз злодей висел один на древе качаясь справа — и налево. Повешенный весь посинел, на духе Древа он висел, вихрь, ветер, Дух его качали, сон вечный сонно навевали. И было тихо.. Тись.. Мы шли. Лишь колокольчик в Зим дали звенел. Природа нам внимала, молчанием немым венчала. И мир и Дух кругом молчал, волн тиши стлался робкий вал.. Звезда молчала и мигала, и что-то тихо напевала. Лишь снег один нам говорил, хрустел и плакал он — и злил; он целовал нам ступни, ноги — кто топчут, те ему суть Боги! И прямо шел наш снежный

путь и Ты просила: „Чтонибудь мне расскажите, что молчите?“ — „О, чтонибудь — есть все! — „Удите!“ Я начал сеять и пахать... Мечту к мечте снопом связать... Не Ницше Я, а дикосказка! Воображения сверхласка! Родился Ницше — умер он, и похорон я слышу звон. Я — не умру! Я крах, фиаско! И Я Безумья мысли пляска. И Я восход и Я закат, Я вечный Шах и вечный Мат. И мать мое Я не родила, Светило Я и Сын светила. Я сам себя один Родил, Себя я жизнью одарил, Себя нашел Я, раз гуляя, и было это... в месяц Мая. Гулял я по крутым горам, Лобзанье спящим я Ворам нес на устах моих всечистых, и Там среди лучей речистых зари, заснувшей на горе нашел Себя Я в крас Сестре. Заря моя сестра... Найденыш Я и Безумия детеныш. Не умер Ницше — он умрет! Я вижу времени полет, идет, я вижу, смерть забвенья, как Серп, как птица, но без пенья! И Небо вижу я насквозь, и слышу речи льются врозь. Смотрю и вижу, зрю сквозь землю, и Вечности Я в миге внемлю. Насквозь я вижу время пор, я вижу точат вон топор, Его навеки он нам срубит, и острее свое тем стубит. Далеко там, там на горе, в закате, в вечера заре Орел стоит, клюет, терзает Его, могилу и копает... Умрет Там Ницше... На горе... Я не умру, живу в коре... Бог мысли Я и Думы Дыня, Безумия я храм, святыня. Пока мысль, чувство, Дух живет, пока наивность песнь поет, пока Разумность и Красивость, как воображения Игривость живут, — Я жив и буду жить, я смерть люблю опустошить. Отец я нового познания, я жизнь Вечна без умиранья. И Сердца и ума я хор, игры причудливой узор. Я мысль смела на чувства фоне, Искусство Умности — на троне... Иголку, нитку я просил у сторожа; дав, он спросил: „Зачем нужна Вам эта нитка?“ „Зачем и почему есть плитка“. Ему ли стоить объяснить, к чему, зачем брать эту нить? — „Грядущее давно уж мною покорено, его весною я покорил; Прошедшее привольно, сумасшедшее Лицо, им овладеть хотелось, мне хватит гениальность, смелость! Грядущее к моим ногам летит... Как я хочу, создам его по образу в подобье, ношу

его в своей утробе. Прошедшее я взять хочу, назад во времени лечу... Мое летанье ароматно, закон мой действует обратно. Закон я беззакония, Я звон, Я тон Безтония. Мне больно, что я не открылся тогда, росую не умылся вечернего Сознания, когда еще Названия Роса и Вечер не имели и первоты красой блестели... Тогда и прошлое моим Было бы как Грядущий Рим. Но думаю, что я иглою достигну Прошлого без бою. Иглою Прошлого сломя. — Сейчас я сторожа пошлю за Прошлым... С ним сейчас вернется, в его руках оно, слышь, бьется! Название мое на Нем я вышью в письме огнем, и именем и освятится моим... Оно мне покорится... Сажало время райский Сад, сред сада дерево: „Назад“, „Вперед“. Принадлежат мне оба. Я не боюсь! Безсильна злоба. Почин мне и конец конца. Меня венчают два венца! Мой трон повыше, чем все троны, и солнце, и луна — короны мои... Наук учение: искусство, песнопение. Науку мы освободили, Искусство Новью окрылили. И встанут все с своих гробов, и на гробах нарвут цветов, ко мне придут все поклониться, я слышу их шаги... Не спится мне... вижу явно Яви лик... Я слышу близится тот миг... И, словно будущия Тени, преклонит Прошлого Колени перед Безумием.

люблю!



VI-я ПЕСНЬ.

признаюсь!

И слушал Я Тебя одну. Мы шли. Хранили тишину. Природа тихо нам внимала. Благоговейно тишь молчала. Внимали мы вниманию. Мы предались Преданию. Внимала нашему вниманию Природа, тихому Гаданью. Плелась тиха Молчанья Тень. Но как с пространством быть! Мне лень! Величье Места одолели давно, но Малость не успели. Животного я призывал на помощь, — и конь прискакал. Да, слово есть Могучесть, Сила, всех отношений — дня светило. И я извозчика позвал. И колокольчик волновал звон ясный в воздухе пречистом и в небе ясном и лучистом. Заслушались все звона вдруг, и санки чертят лихо круг, и на бегу остановились, сиденьем в санках мы делились. И зверем ноги я накрыл Твои... И зверь как бы завыл. Мы оба — люди, звери Веры кругом, а вот и их пещеры! В нас Человек — кругом нас зверь... Где сердце без зверей? — уверь! Сидели рядом... Санки мчались, и Тени нам во след погнались. Мелькают ярко фонари, им человек сказал: „Гори!“ Дома и улицы мелькают, со светом, с тьмою исчезают. То в сторону дугой летим... То прямо... и стрелой крылим. Плыдем по белому морю навстречу лебедям простору. И фон белеет вдруг кругом, где небо бело — бел и гром, вином всебелым мир пьянится, и белою волной мирится. Фон нарушает чернь коней, как Гений тьмы в тени огней... Но вот творится перемена — покрыла их пространства пена. Вне города... Спит тишина в сна тишине... и ни волна единая не шелхнется, вал, звук о тиши брег не бьется. Лишь звезды звездно говорят, по-звездному молчат, горят. Виднеется вдаль

лес незванный и Тени спящей Великаны. Над лесом спит луна, и лес — волшебная страна, он спит спокойно под луною, омыт он сказки чар волною, и видит дивность, чудность, — Сны, отцов рождаются сыны... Земля в одной ночной рубахе, — и поцелуй ее шлю пряхе. . Вся в белом Серебра белье — вот белизна в земли бытье! — Рубаху снег с луной соткали и сколько символов влагали... Она на лоне почиет пространств... И поцелуй шлет ей небо, Высь — низ обнимает, и поцелуй ласк замирает в выси, в тиши, в глуби ночей среди завистливых лучей звезды. Завидует, тоскует Луна, и облачко целует на лоне синем синих Лир... И поцелуй поет эфир, и белизна кругом... Несемся... И наяву мечтой очнемся. Прошел блик-миг — лицо светло луны... А облачко ушло, скользя, так медленно, так мирно, и так легко, и так эфирно. Я слышу: „до свидания“ гласит зов струн умчания. А облако любить ль умеет? В любви лишь небо нам синее. О, вечно любит Синь, Лазурь, не ведает измены бурь! Я — небо, и люблю я Землю, измены гласу я не внемлю. И не изменит никогда земля, не то, что миг-звезда! Не то, что облака несомы, легчайшим ветерком влекомы. Я — небо, шире я земли, и долше дали Я в Дали. Умом весь мир я обнимаю, эфиром Действа окружаю. Мой страж меня ругал, пенял: белье давно я не менял. Хочу менять... Люблю я менность и переходов белость, пенность. Но я просил, чтоб синеву принес мне... Небом я зову Себя, а он дает мне снежны, хотя и белы, чисты, нежны, но все же тучки, облака, и дышет в них печаль, тоска. Я быть хочу чар синевою, лазурью чистою, родною. Я Синью быть хочу, — горю! — что ведает одну зарю... „Ты можешь вышить синь звездами!“ — ему сказал Я дум гнездами. „Ты можешь вышить и Луну... То будет синева ко сну... Но облака мне никакия, ни палки, палицы, ни кии! Из грусти я их сам создам, передаваясь скорби снам вечернею души порою, плескаясь Психи волною. Ты капли грусти Три возьми, кинь в море Сини их — пойми! всплывет вмиг тучка серо-бела, то грусть иль скорби неба тело. Иль я морщиночку возьму чела... грустей беззвездность,

тму змеиных уст дум искривленных, веселия борьбы лишенных, и по небу пушу ее — родится облака бытье“. Со мною сторож согласился, ответом же не затруднился, и говорит ко мне: „Пока оденете Вы облака, ведь скоро доктор у Вас будет“ А после он мне раздобудет белья из чистой синевы, из синей голубой травы... Одену к Твоему приходу, пророча тем души погоду. И судит правильно ведь он. В словах безумия трезвон качается. Прошел он школу безсмыслицы с горы до долу. Он с поразительным умом, таких людей нет, нет кругом. Он человек и он Великий, безумец славный, мирный, дикий. Один средь Многих — ведь он мой! Хоть он чужой, но он родной! Ко мне душой кто прикасался, сближенья мысли не чуждался Безумия фонтаном стал, и брызжет он вино, как шквал. Извозчика мы отпустили, Себя пешком путеводили. Безсилые — людей нога! То против Места лишь рога... И Место мы бодем... Калеки! Проходим шаг... проходят веки! И Ты спросила: почему молчу? Ум пьет безумья тьму. Люблю речистое Молчанье, люблю я сердца напеванье... Ты не спросила: „почему?“ Творило слово хлад зиму ошибок глупых и коварных и, словно месть, неблагодарных. Так спрашивают ведь Они, коим свет зорь в потьмах, в тени... Есть „Почему?“ поганое слово. Что старо никогда не ново. В долу всех мыслей — на горе! Его нет в нашем словаре. Ведь этим словом основали Науку и закон сковали. Я слово вычеркнул — и вон! разнес его, как гул и тон. Его Ты не употребила. Измена Слово молотила. Измены жь нет в дне высоты. Велела и просила Ты, чтоб сказывал Тебе я сказку... Ты любишь звуков яркость, краску. Я помню сказку и рассказ, как создал бы его сейчас... Его я птичкам ежедневно рассказываю пренапевно не словом, речью, а рукой, одной воздушною волной. И дажь траве я сообщаю его, ногами выбиваю. Умеют ноги говорить, как и ласкать, лобзать, любить... Я часто говорю ногами ведь говорят Быки рогами. Сказать сегодня должен был я доктору, чтоб он уплыл, утек, ушел, так как остаться один хочу, мечтам предаться своим, и жить

в Своей стране в Сна Яви, как в грез райском сне. И Ты за дверью стояла и нежно мило Стуку вняла. Просила, чтоб я удалил его... и выйти попросил... И это я сказал ногою, не вечно жь говорить волною уст слов и речью?! Говорят, — безбожно истину морят — ударил я его ногою... Зла клевета с злой клеветкою! Безумье тьмы ума — звезда! И тупомье никогда ея высот и не достигнет... Безумье свету светом мигнет и разгорится Солнцем дня и Новью, в высь небес маня! Как север с югом не сольется, Безумие так не споется с наивностью Наук ума, чье знание не свет — а тьма, и чье нелепо об'яснение, воды студеной есть толчение. Он ползает, когда парю! С ним вежливо я говорю: „прошу Вас выйти, извиняюсь; чрез час придете, об'ясняюсь, я занят, жду ее теперь“ — и указал ему на дверь. Да вот болван, он утверждает... И за кого он принимает меня?! Себе труда я дажь не дал разубедить его. Я стал лишь стражу об'яснять в чем дело: „слышь, каждый член и каждое тело имеет свой родной язык, как вол и Бык свой счастья мык; и языком все обладают, иль говорят иль осязают. Мне языком ль все говорить, низать все словом на Речь-нить? Одно и тожь надоедает, а перемена возрождает. И музы чтят дух перемен. Сознание — идей обмен, и в переходе жизнь природы, изменчивость — живой нерв Моды. Темнеет ночь, светлеет день, верхушка дерева — и пеня; и ведро ясно и ненастье и радость, счастье и несчастье. Вот низкий Пол, вот потолок, вон запад, вон восход, восток; вот женщина, да вот мужчина, вот следствие и вот Причина, вот суша, а вот океан... Даль Ясная, а вдруг туман; да вот земля, да вот и небо, Там роз цветы, здесь колос хлеба; текучая вода — скала. Вон лучезарность, вот тьма, мгла. Наука, Вера — и сомнение; Сон вечный — жизни пробуждение. Укус зубов, уст поцелуй, стоячесть и течение струй, вот немота, вот выражение, вот колебание, вот решение. Чего же тут не понимать? И начал я разказ ласкать. Я говорил волшебств устами, слова порхали душ орлами. Носила чувственность, гроза, Я прямо лил их во глаза Твои,

что неба суть небесней, что Бога чуда дев чудесней. Я говорил, я рассказал, во мне огонь святой пылал, Ты благосклонно мне внимала... И слухом нежным обласкала; и камень по пути лежал, ты тихо стала и я стал. Тот камень твердым был, мы сели, и вмиг достиг сей камень цели своей... На месте он лежал, а нас он нес и не устал, чреватю камня назначенье, к нему вернуса в песнопенье. И Я рукой очистил снег и усадил Тебя,— дух нег, Луна на нас с высот смотрела и пред Тобой благоговела... И тихие лучи ея, приветы светлого чар дня, по локонам твоим блуждали, что выбились из под Вуали... Я утром утра луч поймал, или меня в полон луч брал. Я им сегодня вздумал бриться и без волос седых явиться. И сторожу я принести нелел мне мыло — и цвести! Он спрашивает: а где бритва? Его звучит речь, как молитва. Ему Я бритву показал. Я два луча копьем вонзал, что на окне, резвясь, валялись, и локонами забавлялись... Вот злата локоны Твои, златистостью волны — таи! — своей их омывали, свили и день лучей олоконили. Схватил и перегнул я их, и бритву, острость сделал вмиг; волшебю действует дня бритва и как забвенье, как душ битва. Смотри, какаю у меня предлинность, борода со дня, как я дневным лучем обрился и бритию волос взмолился. Ведь это, знаешь, оттого, что безбородо существо я, выбрился лучем на-чисто, чернеет борода лучисто... Гуляли мы, я рассказал... „В пустыне дикой Я блуждал, пустыня та не-я песчана, не встретишь в ней и каравана души своей. И солнце жгло. Пожар горел — темно, светло. Песок безжалостно жжег ноги, и я скитался без дороги... Я черным был, я желтым стал. Я странствовал и я блуждал. Гулял в лесу кошмара, бреда, и след остался мой от деда. Дороги нет. И я устал. Томит алканье, я упал среди путей, в не-я... скитался... И сбился Я и разметался. И я искал, и не нашел, и словно зверь я был дик зол, как хищный зверь и как волк серый, что вышел ночью из пещеры. Полей моих я не вспахал. Не сеял я, и я не жал. Без Я кто может хлеб нам сеять. Без Я нельзя дажь плевел веать. Нужна, ведь почва,

почва — Я! Бдит Чернозем, чернь, ночь вая! И мир есть Я, Я есть вселенность, душа есть Я, душа — нетленность! Ночь. Вижу я, вдаль огоньки манят, как глас любви тоски... Спит Трепет, синь лазуря... И Я пошел... Нет! Сердца буря и подняла и понесла, навстречу мне земля пошла. Путь под ногами сократился, он свертывался, суетился. Я тайну эту знаю, знал... Не раз чрез ночь я проскакал недостижимость расстояний и все в своем путей сознаньи. И сократился длинный путь, пространства суживалась суть. Есть мерило пространства дивно! Измерь, как Время, суб'ективно! Сегодня в мысли я и был, я Завтра есть, я плакал, выл. Вчера существовать я буду, доннешнее все забуду. Я видел замок золотой, архитектуры он иной, из злата зорь кудрей восходных и летних, вешних, превосходных. И солнцем дня он был залит, и светом лунным Сна обвит, как бы змеей... Весь он купался в огне восхода, им плескался. И от него бежала Тень, где замок белый был — был день. Светился он души огнями, он окружен был светоднями. И в замок постучался я, раздался отзыв, отклик дня. Явился шаг... Мне отворили, и эхом в замок пригласили. Открыла мне Царица Ты, открыла мне Рука Мечты; открыть имеет право Дева нам сна стихов сажая древо. И Я входил... И Я вошел. Остался за дверью Мир зол. Так в царство вечной жизни входят, так сны больной отчизны бродят. Так входит в сердце грусть, тоска, так входит в чашечку цветка роса... И поцелуи входят так во врата уст и не выходят. Вошел я, выйти не хочу. Я лишь входить, войти учу! И там в душе я на колени, мое все сердце в струн моленьи. Меня Ты не гони же прочь! Кругом кромешно-злая ночь! И выйти ли могу, желаю? Я здесь, с Тобой себя братаю". Ты сказку поняла мою, знала Ты Я Тебя пою. Вошел ко мне Твой ангел взором, и в сердце он запел ласк хором. Ты посмотрела на меня, — и солнце шпорило коня! Снег таял, ручейки запели, кругом луга зазеленели, усеялись цветами крас, поет нам жаворонок масс и воздух полон неги вешней, и лес шумит своею песней. И в бархате, в шелку земля!

Царицу, розу крас хваля, родилася Любовь и трели, пастушенкам поют свирели. „Люблю Тебя, Тебя люблю! И о любви душой молю“... Луна на нас светло смотрела, молчала и в выси замлела. Она Твоими кудрями играла, снами пудрами и светом... Лунно Ты молчала и ночь всей тишию внимала, внимал и воздух, Мир внимал — Любовью, Словом Бог обдал его... И унеслося Слово мое на зыбях Молодого Безмолвия миров в Тиши! спокойствие ночей туши! То слово тихо-чутко внемлет и в гласе Бога оком дремлет. Слова мои горят, текут, огонь с водой в венок плетут, горят и искрятся, как Пламень, что высек млат о скалу, камань. И динь-динь-динь раздалось, и ржание рождалось и прибыл мест одолеватель. Очнись! За дело! О, мечтатель! Мы сели! Я Тебя укрыл; рукой своей перчатки сшил Тебе и теплоту, и негу пил, ржали лошади с разбегу... Твои глаза в моих глазах гнездились, словно скорбь в слезах... И между нами и над нами плела Луна венок лучами. И нас венчал один венец, его достоин Муз певец! И нашу голову корона об'яла из волшебства звона, что сотворен высей луной... И сердце наше сна Мечтой цвело одной... И Ты молчала. Ты тишью громче Слова стала. И мы мчались, стремится Рысь, и низ нам был всевышесть, Высь. Пространство снежно говорило, молчанье этим углубило. Сидели рядом оба мы; слились сердца, слились умы. Пространство мест вокруг нас бежало, и место лихо нас умчало. Я чувствовал ласк теплоту — бросайте Хлад свиреп в лету! — Я зрю сквозь шубу, и сквозь звери... Грядущее Твое через „Тепери“... Я зрел... И слово чар Твое в миг, час, когда немело все я чуял.. Твоему Я слову внимал... Дои зарниц корову! И дажь чрез темность, слепоту твою я видел красоту. И Ты пела, творила звуки нежней свиданья и разлуки. Два дерева мы в одном саду, стоим, цветом в одном году; мы виноградники тел лозы, в одном сознании две грезы. Нас создала одна Тоска и мы томимся, как река к идей экватору стремимся, Себе Самим Собою снимся. Мы одного созвездия, звезды две, свет возмездия. Лучей мы

двое дня светила, и в нас живет одна копила. Одно мы сердце в двух грудях... Одно решенье в двух судьбах... Единство в двух конца началах, мы лик один, но в двух зеркалах. И Ты молчала, Я молчал. И голос сердца кликал, звал и отозвался эхом внятным и отзвуком, как страсть, приятным. Смотрел, одну Тебя я зрел, и в счастье страны шел и пел, ходил, шел с песни ликованьем, я шел с предвечным расцветаньем. Я видел локоны твои, я видел и уста — Мои-Твои, что солнцем улыбались, и в море лилии купались. И Я не видел щек Твоих, на них всерозовый цвел стих. Твои глаза как я увидел, все Невниманьем я обидел. Твои глаза повсюду их я вижу — вечность есть их миг. Они и времени безпечней и Мест Пространства долговечней. Для них прозрачно-светло все, пронзают тьму, как слов копье, явижу их через тьму Яви, я вижу их чрез лес кудрявый. Я вижу их чрез потолок, я вижу их через восток; Тебя в уста зари целую, но и глазам Твоим дарю чар поцелуй. И я в глаза поцеловал Тебя! Гроза моя! Сегодня пред зарею я встал пошел чужой стезею. Я ныне встал со сна ко сну. И подошел я зря к окну — и там глаза твои смотрели и райски звуки арфно пели. Да?! Смотрят, Нет?! глядят они, как Предвкушение в тени зимы, когда мчались обратно Мы... и горел в них беззакатно Огонь святой — Люблю! Люблю! Люблю Я небо — землю шлю к огню, святой огонь признанья, блаженства сердца расцветанья. Отец огонь тот всех огней, И мать Ночь та всех ласк ночей. „Люблю!“ огонь есть настоящий, огонь огонь огнем творящий. Он создал жизнь, он создал Мир, и создал он и Страсть и Пир. Огонь! Он без воды огонь истый, он Бог Богов небес цветистый. Сегодня утром я-глаза твои увидел — душа лоза! — через окно они смотрели и солнцем внешне сердце грели. И было на дворе светло, они глядели чрез стекло. Я подошел поцеловал их, раз! Два! Три! Я сих чисел малых люблю число! Святое „Три“! Три — луч святого дня зари. Навеки Три соединимо, число Три неисповедимо. Олив, один и Перевес, Творило много Три чудес, творит поныне...

Обернулся я, страж вошел и улыбнулся. Я вижу вдруг твои глаза, смотрю: в них Против, в них и За. И смотрят на меня так нежно. Восточность, стену неизбежно они вонзают... Никогда не вижу их — вот беда! То что в Судьбе, то спит и в Роке! — на Юге или на истоке. — В чем дело? — Сторож мой спросил — велеть ему уйти нет сил. Их целовал четыре раза, математическая фраза четыре есть... Четыре плюс Три — есть семь, вот тождеств искус. А семь ведь есть число святое, число во-истину младое. „Семь — есть Ложь“, ложь есть Истина; Семь есть неделя и Стена, неделя Года младоврата, во всех странах лучом чревата. Суббота есть ея конец, А воскресение — венец. Конец, начало оба святы. А пятница? Свят и день пятый. Есть Три святейшее число. Три раза целовал в чело Бог Время; в Шабес при рожденьи, при возмужалости — в воскресенье. А ко времени концу начал, его Он в пятницу лобзал. Я целовал Тебя Три раза, Три есть Любви конечность, фаза... Мы ехали домой, домой, сопровождаемы мечтой. Когда, откуда мы вернулись? Вернулись, со сна ль очнулись? Остались мы в мечте, во сне. Остались мы в любви стране. Я знал, знала Ты, сила — знание, могучесть, сила есть Признание. Знала Ты раньше — я сказал... И чувство словом украшал. И Я сказал, есть мощь — сказанье, волшебное любви преданье! Сплетенное сказание, луной, звездой гадание и небом ясным необъятым души безмолвием опрятным. Ведь сказывают небеса. Поют, шумят горят леса. Сидели мы вдвоем — мы встали. Мы мчатся, гнаться перестали. И выйти я Тебе Помог. Ты на крыльце. Вот ваш порог. Твою Ты подала мне руку. Я предвкушаю боль, разлуку. И подала Ты руку мне, свидетель небо в вышине, и тишина, безмолвье ночи, и ясность Неба, светоночи. Все видели: Звезда, Луна, Снег, Даль, Деревья, Тишь, Волна... что Ты дала Гвою мне руку, внимали до-свиданья звуку. И Ты открыла дверь, ушла... За дверью свет иль темень, мгла? Один за дверью я остался. С Тобою я не расставался. И видел я Тебя всю ночь, Я от Тебя ни шагу прочь — не уйду, не

отступаю, Тебя повсюду провожаю. И в санки я обратно сел, везти меня в лес — я велел. А санки тронулись — помчались, вновь к лесу... верно возвращались. Весна. Ты ручейком журчишь! И я молчу и Ты молчишь. Сидишь на месте, где сидела. Кругом равнина, Снежно-тело. И Я Тебе в глаза смотрю, и Их огнем я весь горю. Свои я закрываю очи. Как легче видеть во тьме ночи... И санки молнией летят, полозья трепетно скрипят. Копыт мы слышим гласный топот. Но Я не слышу. Чую шопот молчанья Твоего в тиши. О, глаз! — волн кубок осуши! Кто слышал этот Страсти лепет, кто видел этот чувства трепет! Несусь и мчусь — желанность, Здесь. Залит лес светом лунным весь! И светлость, свет, и темность, Тени, два царства Были: демон, Гений. И здесь светло, а Там темно, и чужестранно и чудно. В другое царство не вступает, свои Пределы соблюдает. Что к свету — свету надлежит, а Тень свое лишь тмит, крешит. И никогда те не сольются в венок один ввек не споятся. И нет такого чар венка! Оттуда, знать, миров тоска идет... Свет по тени тоскует. А Тень свет издали целует. Во след за светом гонится, день, вечер к ночи клонится. По свету вечно тень томится, а свет лишь к Тени и стремится. И никогда им не сойтись, разделены как свист и „бис“! Бог и судьба раз’единили, томленья вечность сотворили. Не может сердце единить. Лишь может сердце вновь пьянить. Но я и Ты волной сольемся. Как звук с чар звуком, вострепемся. Мужской я свет, Ты женский свет. Великие и Да и Нет. Мы два великие Начала и Пола тайны покрывало. И в вечности из рода в род змеится пола хоровод, все в пола носится кадрили, и в поле школы, в поле стили... И я закрыл глаза. — А лес, как никогда не был, исчез. А с ним и странность разсужденья, их место заняли виденья. Я вижу комнату Твою. Я вижу красоту — и пью! Гармонию песни слышу в гуле, — устало Ты сидишь на стуле. На руку главу оперла, влечет ее небесность, мгла, и волосы вольно разбрелися, и золото с змеей — срослися. Ты главу подняла свою. Влечет земля — гнездо совью! — Ведь яблоню так подпирают, когда

плоды отягощают, когда слабеют веточки, и тяжелеют деточки. Ты зреешь. Сердце зреет, спеет. А голова и тяжелеет. Ты главу подперла свою. Я издали зеркало зрю: Оно висит там стороною. И яркой лампочкой одною освещено. И профиль крас глядится в зеркале сей час. Кто профиль Твой святой увидит, возлюбленну возненавидит, и бросит он свою жену, и поклониться тела сну пойдет, к мечте во страну сказки неведомой красы и ласки. Я ныне видел профиль Твой — и пилигримом стал душой. Веревкой опоясал чресла Я, и взял посох мой... то весла на море суши и в песку. Пошел я в красоты тоску! Они меня не понимали. И здесь насилу удержали — „Прогулки время ли теперь“?! они сказали, плотно дверь закрыв... „Ведь профиль — возражаю — повыше времени и краю“. Ея чар профиль Божество! И качества крас рождество. Да видишь глаз и раковину, часть лба, нос, шею — мрак, овины — меня не понимают, но... я выскочил через окно. Тихохонько я в сад пробрался, к фонтану прямо-криво крался. В саду в аллее бьет фонтан. Люблю я брызгов караван, что странствует в высь по пустыне, к Грядущему идет чрез ныне и в брызгах красных золотых, в благословениях родных лучей я зрел Твою чар профиль... Не смейся умный Мефистофель! Меня искали и нашли, ко мне все подошли. Я крикнул: главы обнажайте! Ее чар профиль созерцайте! И на коленях я стоял. И профиль Твой резцом ваял. Все отошли. Мой страж остался, участливо он улыбался. Я так молился Профилю: „Я изступленье строф лию Тебе, Крас красота родила игрою смеха приводила Тебя, и форм улыбкою гармонии звукарыбкою, и чарами, волшебством Слова—Краса! Рождай меня Ты снова... Свята, свята, святая Ты! Ты красота, дочь красоты! Тебя родила Действо, дева, Ты плод от Чуда красодрева. Люблю я красоту душой и телом, духом, и волной сердец. И вечно вечно предо мною крас Красота сребрит луною Тьму тела, на яву, во сне, и в глубине, и в вышине, и сидя дома в действ чертоге, и странствуя по мечт дороге. Я обручался красотой. Я обручался лоз мечтой, и правдой Истиной,

Стезею, Орлом, Драконом и Змеею. И темной ночью и звездой; и золотом души родной. И мысли Камнем и алмазом, и все подряд и всеми разом! Не смолкнет прелести чар звон — и красота со всех сторон ласк радугою окружает меня, крылит и возвышает. Витает над Душой моей в всевосхищении лучей. А херувим красот там справа! Престол красот, престол есть Слава. И прелести красот мой Трон, он вылит и массив, как тон, и ангел Красоты там слева — не ангел, ангелица Дева! Кротка и девственна, нежна, как новолунная жена. Архангел грации там сзади: крас красота красот крас ради! А спереди крас серафим, в руке его Ерусалим. Дух Божий красоты горлицей воркует и парит орлицей над головой моей младой, глубит, крылит крыла красой, к Хаосу красоты спускаясь, творя мир крас, сном обдаваясь... Молитву кончил Я. — Я встал. Молитвой профиль осязал, взял — и вот он весь предо мною, трепещет радуг чешуею. Его держу в своих руках. Гнездится он в моих тосках причудливым узором Песни и языка ему нездешни. Лишь чувством я ему служу, в себе его зачал, рожу. И сторож ахнул от испуга, он ужаснулся Красокруга... Святой молитвой профиль внес я в комнату, как грёзой рос обрызганный цветок... За мною страж с обнаженной головою. Его я нес. Я шел Я пел и встречным по пути велел я преклонить пред ним колени в Таинственном благоговении. Я мчался. Ветер вдруг стал дуть. Велел я в город повернуть. Животное ужь приустало. Домой же весело нас мчало. Животному так дорог дом. Овес и ясли — и все в том. Хоть было поздно, было рано. Признанья первость, ночь: Осанна! Мы в'ехали в град, город спал. Что Я признался... град не знал. Любви признанья град не знает. Наш град — любви не понимает. Знать, в городе растет разврат. И тело женщины у врат, как хлеб, товар, в нем продается; жена за деньги отдается. Семейна проституция! Парламент, конституция! Да это в духе, в кусе града, ему дешевка и услада. Цветет любовь в садах, в полях и утопая в вин землях. Младого ночью ждет девица, звезда с не-

бес на них дивится. Любовь на лодочках цветет и по реке в волнах плывет, в закате подвечернем мчится, на берег ночью укрыться. Цветет любовь весной в лесах и в тихих, ясных небесах. Там-там, в тени, меж тьмы кустами, уста сливаются с устами. Цветет Любовь в ночей луне, цветет во снах и в тишине, цветет в таинственных аллеях, цветет в художества' идеях. И город тихо, мирно спал. А может безобразье стлал. Никак не знал, что я признался, лишь снег, снег знал, что улыбался, и весело во всю хрустел, и колокольчик, что звенел; и лишь Луна, она все знала, И лишь звезда, что мне мигала, Под'ехал к дому своему. Я стук и звон несущему. Я подошел. И я стучался, стуча, мечтам я предавался. Прислушиваюсь: в доме тишь. В мечте: „Да неужели спишь? Лежишь в постели и мечтаешь, со Мной по небесам витаешь“... Прислушиваюсь. Стучу. И дверь открытию учу. Вошел.— И лег я нераздетый. Заснул. Во сне... с Тобой... Кометы... Я мчусь, парю, несусь, лечу... И видеть Сон во сне хочу. Я мчусь, гоняюсь за тобою. Я Небом стал, а Ты — Луною. И вот ужь три, пять, шесть ночей, как не смыкаю я очей. Кататься ухожу с Тобой в ласк море Неба чар волною. И вот ударил я веслом, помчалася Ладья крылом в грез лунном море по зыбучим волнам, зыблям звезды певучим...

признаюсь!



VII-ая ПЕСНЬ.

первый поцелуй.

Великий, дикий я Поэт, пою безумья пируэт. Велик поэт, кто не рождается, как не явился, не явится. И если я в конце рожусь,—безумием святым боюсь! То не на этой проз планете, и не в научно-мудром свете. Если я рожусь—роюсь тогда, когда жена, как грез звезда, с высей ночных мигать нам будет, из мглы страстей нам свет добудет. Тогда, когда лицо жены свежее будет чар весны и, словно Ты, душа, красиво, безвинно, словно спелы нивы, что ветер волны мчит по ним, их душ простор необозрим, их он волнует и лобзает, но так ни с чем и улетает. Тогда, когда Любовь жены звончее будет арф струны, нежна, как первое томление Адама по жене... как пенье в тиши ночей Роз соловья, и тепла, словно солнце дня... Хоть не родился,—существую, бытью безумие дарую. Я создан для Безумия и для Пчелы раздумия, как Истина для заблужденья, как звон для духа пробужденья. Для снов я создан и Мечты, „А женщины — для красоты“—сказал мудрец еврейский, древний, мудрец, святой, певец напевный. „Нашел жены своей милей, ты можешь развестись с ней“! Учил мудрец нас тот же самый. Вы гневаетесь, дурность, дамы?! Он женщин красоте учил! Иудейским мудрецом он был. Иудеи, о, народ великий, культурно-прекультурно дикий! Народ, который произвел красивых жен—крас пол расцвел! Он произвел безумцев многих, и свод законов, что Бог, строгих. Безумец древний сей народ, Его безумен небосвод, его земля и та безумна, и дажь торговля неразумна. Века! Безумствует народ! Существованья хоровод! И он живет, и существует, завет

безумия шлифует. Вне места и отчизн живи! Великую песнь — жизнь зови! Живи! вне времени и вечно! Вне территорий безконечно! И без законов, ты, живи! Цвети, как алый цвет в крови, внутри привольно и свободно, все то, что „Лично“, есть народно. Его не понимаем мы. Он создал общество без тьмы, социологии уклоны и новой жизни нови фоны. Народ, что время победил и чрез Пространство преступил, Земли очеловечествленье — гласит, поет его ученье. И он преследуем, гоним, и презираем, нетерпим. Народ, чие существованье есть территорий Отрицанье. Дарит Он новый нам завет и вижу, вижу я тот свет, он высек новые скрижали, и в них горят скорбь, грусть, печали. Безумен, вечен сей народ, несокрушим, как Сила вод. В нем бдит великая Идея: социологий затея. И свет я вижу, мне светло; и есл-б такого не было Народа... Создать стоило бы его для опыта, для пробы, как Бога и как Сатану, сметану, женщину, волну, и как наивную науку, и меланхолию, и скуку. Велик и чуден сей народ. Он превеликий Сумасброд, и у него столь сумасшедших, как будущих, так и прошедших. Безумец он, как таковой, безумец ветхий, и седой! Народ! Народ он сумасшедший, менял на слово — битвы, сечи... А пола женщины цветы, плод спелый тела красоты, растут, цветут в саду гармоний серьеза крас и чар ироний. У женщин быть должно цветов благоуханье и орлов орлиц души и чувств Благокрыленье, и запах пьяный песнопенья. И жало у меня — я змей в цветах безумия идей. Я роза роз на грядке новой доктрины, словно мир, здоровой. Но я не меч, а я — жена! Я — ты мышления весна! Науку новую рождаю, искусство я освобождаю. Не буду петь! Могу ли петь — когда полна вся Миросеть родильниц, женщин некрасивых, слепых, немых и не игривых. Когда умрет и без детей, без дней, без лет и без ночей жена последыш некрасиво, — тогда зазеленеет нива Поэзии вешней и родной и обновится мир струной. Тогда поэт красот родится — и мне должно тогда явиться. Поэт крас Истины весны, поэт игры искусств — жены. Певец мудрец Красот разумных и мыслей

мудрости Безумных, когда последняя умрет, жена, наука спать уйдет, тогда, не раньше и не позже, рожусь я самого моложе. Великий молодой Поэт! Пою я соло и дуэт! Песнь человека созидает, и песня мир, свет разрушает. Я в песне песнею живу, науку к песне я зову. Поэты все вино любили, вино воспели, с песней пили. Не пью вина, и не пою, вино безумия я пью, безумью песни я слагаю, пою и пью, и воспеваю. Двенадцать песен посвятил ему, до дна я не испил. Поэты и войну воспели, свистели арфы, как свирели... Язык войны, не назови меня, певца родной Любви... В любви живу, любовью умираю, любовь слезой я воспеваю. Я против войн. Я за борьбу! Я гну свой рок, гоню судьбу! С безчувствием Чувством, ты, борися, безумьем новым накался! Противна мне мечей война, и против я лозы вина, не пью я даже кофе, чаю, лишь чистоту воды вкушаю. Но я стою за Женщину. Люблю, люблю я Женщину певцов других в три раза больше, певцов родных в три раза дольше... Я, как вино, люблю ее, Я, как войну, люблю ее, как женщину ее люблю я, и я умру, жену целую. Ты женщина — и Жизнь и Бог, ты Женщина — и Лес, и Рог. Ты женщина — дочь, мать родная, ты женщина — тоска младая! Жена, Супруга и весна — а женщина ведь не жена! Два типа женщин существует и оба — тип один воруют! И как в красе цветов роса, как в тверди выси небеса, краса-Девица молодая есть за одно мне мать родная. Родила Ты меня и Я мое, Я сердца и Огня, и Я Крыла, и Я лобзанья, Я миропреобразования, и Я души, и млада-Я, мое Я ночи, Я и дня, и Ты моя тоска младая, и Ты моя мать дорогая! Никак Ты не моя „Жена“! „Жена“ — не женщина-весна! А женщина, что перестала быть женщиной, душой упала, не существует для меня. Она для ночи, не для дня... Лишь страсти плоти черный пламень, в нее вы бросьте первый камень! И камень осуждения, и камень возбуждения, и камень пола осквернения, и камень сердца потушения... Учитель первый — Мать-жена! Меня учил кто петь? — Она! Возник родник, ключ песнопенья к Тебе стремясь в Посвящение... Учил меня кто говорить? Учил меня

же кто любить? — Ты женщина, одна единость, голубушка, ты голубиность! Учил меня же кто молчать? Учил меня кто тосковать? — Ты Женщина, одна единость, голубушка, ты голубиность! И кто-жь учил меня летать, эфир миров крылом пахать? Ты женщина одна единость, голубушка, ты голубиность! О, мыслить есть идти, ходить, ума ногами семенишь, и не уйдешь ногой далеко, и не поднимешься высоко. Безумствовать — порхать, летать и легче воздуха Дум стать, и легче мыслей, чувств эфира... Стать выше века, выше мира... Меня кто чувствовать учил? Смеяться краше всех точил? — Ты Женщина, одна единость, голубушка, ты голубиность! Все Женщина лишь Ты да Ты, Венец, Начало Красоты! Вино пророчества видений, ручей весенних песнопений. И кто учил меня сойти с ума и дальше все идти вниз, в высь, в ширь, в глубь и не бояться, блудить, блуждать и не теряться. И ниже, выше лепетать, и сердцем струнно трепетать? Ты женщина, одна единость, голубушка ты голубиность! Я чудо Именем Твоим творю. Со временем — зрю, зрим — Начала эти два сольются, в один венок душ, тел совьются. Родится Новая Жена, что трепетна, как струн волна! Родится новый и Мужчина, гора — и новая вершина. Родится новая Жена перво-рожденно, как Весна в лесу, не из ребра мужчины — из сердца сердца, из пучины. И на-яву, а не во сне, в раю, и в чувства вышине, в раю древ жизни без запретов, и без змеиных злых советов. И словно пена из Волны, мужчина этак из Жены изо груди ее родится, и совершенством крас явится. Мужчины краше ведь жена и совершеннее она его, так как родилась позже, всегда она его моложе. Я из тоски Жену ваю, Богами создана в раю была из чаянья томленья, и из ко красоте стремленья. Великое создание — творила умирание! Мы чувства наши извратили, губили сердце: превратили в „жену“ великую жену, ее придатком мы ко сну и сделали... Грех, преступенье, святыни красоты хуленья! Ее обезобразили и нагло-пошло сглазили, и множество жен народилось, но Женщина днем закатилась... Явится Новая Струна, умрет пос-

ледняя „Жена“, тогда поэт красот родится, и из ключа нам даст напиться тоски и вечной Красоты в стране, где и плоды — красивые цветы. Он петь в саду не птицей будет, а арфою небес разбудит Сон, Смерть! Животворит краса, как розу майская роса... И каждый звук возродит Бога и Красоту красы итога, и храм, и Жертвенник, алтарь, — вот красоты красивый Царь, трель каждая Богиню родит и на стезю красот наводит нас. Ибо трель, звук есть жена, трель тонов есть рябей волна в струн море пеня песнозвука, мышления трель есть Наука... „Не я стою, сплю — а жена, заледенелая волна“, так говорит, гласит Ученье, но это грубость заблужденье. Я не учу! Нельзя учить тому лишь, я учу! — Вручить хочу Вам сей запрет. Молчите! Что агитируйте, ворчите! Знай, Женщина есть Творчество. Она единоборчество. О, не учите! Не учите! В любви любить всем разрешите! И бросьте ваших брака жен, законных жен и весь Закон. Ведь это жалкость подражанье, и мысли, чувства прозябанье и это ведь один шаблон — законных ваших бросьте жен! Жену, жену-красу любите! Но пропранды не ведите! И бросьте проповедывать, и полно нам беседовать; насилие и принужденье есть проповедь — пойми ученье! И против я насилия, — пью правду, ложь обилия — во всех его зла направленьях и проявленьях, разветвленьях, и в образах его во всех, и в ширинах услад, утех, и формах, видах, красках, тонах и звуках, гласах, стилях, фонах... Как я любите вы Жену! Как я любите лишь Одну! Ведь больше той одной и нету, из края в край, из света к свету. Ночь освещается одной премилой женственной луной, и в красоте ее нет выше, боится Кошка Черной мыши... И освещается ведь день светилом лишь одним — и Тень его мягка и дня светлее нет. Тени зноя нет милее. Как я любите, вы, Жену! Как я любите лишь одну! Вы больше ли одной найдете?! Вы больше ли одной споете?! Как я любите, вы, Жену, единственную и Одну, как я ее любил и буду любить, люблю и не забуду. Люблю, как свет! Люблю как тьму! И буду я не потому любить, что я любил, люблю я, что целовал Тебя, целуя, —

а потому Тебя любить я буду, что люблю любить Тебя, и что любить я буду! Отдам Грядущему всю ссуду. Я новой школы новый стиль, глагола я убил кадрили! Одну лишь Будущность оставил, Я Прошлость прошло обезславил... В саду сверхвечности времен, живу, как Поступь, шаг Племен в заре, в зарнице, на востоке, что отражена в ласк потоке. И все убил я времена! Живут Грядущим семена в одном, далеком и Грядущем и в вечно молодость поюшем... Вся Будущность Весна-Жене принадлежит в чар тишине, и в песне громкой, новой, горной, жестоковыйной и упорной... Я не мужчина — Я жена! И Я не лето — Я весна. Я двух стихий живых слиянье, двух тайн единости сиянье. Слиянье двух родных: близ, Даль, и радость я, и я печаль. Я Ты, Я ты и преломленье, и философии песнопенье. И я поляна и я Новь. Я ненависть и я Любовь. И доктора того младого Я презираю снова, снова. Я ненавижу Не-Тебя! Таков вот я! Люблю, скорбя! Моя мощь, сила, и мой Гений — Наука, как муз песнопенье. Я двух стихий уст поцелуй, Лобзанье Чувства, мысли струй, игриво то, как и другое искусство умно-молодое... Стены четыре спят в тени! Ты царствуй и соедини! Стены четыре есть две пары, и стены молоды, не стары. Любите, дайте всем любить! хотел я их соединить! Я слышу — по ночам тоскуют оне и издали целуют друг дружку, и одна к другой стремится сердцем и душой, И больно видеть, как томятся, на дружку друг не наглядятся. Все миропонимание, вселенной разгадание начать с Я-преобразования себя, Я-реализованья должно — учил мудрец-певец. Я есть Начало и Конец, исходность и возвратность, точка... Я есмь плод, и цвет и почка. Начало первое, Конец, Основа, золотой венец; Я есмь Нить, Узел и Иголка и гроб святой, и богомолка... Я есмь и зрячий, и слепец, Я есмь и песня, и певец! Я мерило всех чувства мерил, Я есмь пучина и Я дна перл. И мирообновление и Я установление с комнатно-упорядоченья Ты начинай — гласит Ученье! Решите комнатный вопрос! От мировых проблем мороз как б веет... дрогнет, мерзнет Лира, вы начинайте с Мало-мира! Оставьте

человечество и бросьте, вы, отечество. О, начинайте с Владимира! Пой Человека, Арфа, Лира! Должно, сажая и рубя, начать лишь с самого себя! И с четырех своих дум-локтей — обрежь свою кошачьсть когкей! К себе свой шаг и взор направь! И на носу очки поправь! О, эти стекла разноцветны, и вешни зимни — безответны! Сегодня я опять Окно разбил... Не есть же два — Одно. Люблю сквозистость, свежесть то-же... Я не хочу смотреть на Божий мир чрез окно, через Стекло! А на дворе свежо, светло! Кто был стекольщиком? — Змий змия. Оно не нужно болей, и Я другого ужь не вставлю зря! Да здравствует восход, заря, который в комнату чрез дыру окна и стекло входит... Миру смотрю, зрю прямо я в глаза... И пусть поднимется Гроза! Пусть ветры буйные ворвутся, устои мира сотрясутся! Все ясно, видно со двора! Да здравствует окна дыра! Дыра — брешь, альфа разрушенья, омега мирсотворенья. Я созданию служу! Я ночью сторожа бужу, сначала он как б удивился, затем со мною согласился! О, если сторожа со мной сошлись бы здесь в стезе одной, наука б под дождем... промокла... Мы б выбили все окна, стекла... Ведь сторож согласился мой лишь после, как моей рукой стекло было давно разбито, отверстие светом дня залито. Лишь после разрушения и после совершения. Пойми! Нет всемогнее Акта, и нет сильней, сильнее факта. Факт, факт есть истин Божество, пантехники всерождество. Факт — Божество действительности, и не научной мнительности. Факт не зеркало, не стекло, факт есть явления чело, сам свет дневной и не прозрачность, не отражения удачность. А факта ведь разбить нельзя! Прямая к действию стезя! Разбейте стекла — это станет пусть фактом... А акт нас так тянет... К чему Проблема и вопрос! Вы бейте стекла, режьте нос! И стражи с вами согласятся, и с фактом, актом примирятся. Создать я комнату хотел, и перестроить — я б умел создать, творить архитектуру, затем и новую культуру. Они никак не дали мне, и место им в аду на дне! Я было ужь за дело взялся, задачей сложную занялся. На грех! Тут доктор молодой вошел

разгневанный и злой, оспаривал мою доктрину; что комната должна средину иметь — мне доктор говорит. Не спорит, сердится, вопит. Не преношу я этих криков, сих острых, ярких слуха бликов. Прах Вер—Науки Рождество! Натуры лучше Божество! И будьте доктора прокляты, из книги мысли все изъят! И пусть преследует всех вас, проклятий толпы диких масс, и задохнетесь в приверженье, учений тьмы нагроможденье. И если-б удался опыт мой с той комнатой младой одной, а сторож согласится, верно; все совершится планомерно. Тогда я б создал новый мир и нови струнность новых лир, Восток Вер с Западом бы слился, и с Севером Юг б единился... Пока же это лишь струна. О, мир есть комната одна, лишь комната, как мир, большая, ее же стены — страны края. Мир-комната воинственна, едина и единственна, светлица четырехугольна, темница вольна, добровольна в великом замке Бытия и жизни, и тоски нитья, бессмыслицы существованья—в глуши тайнств Неразгаданья. Я не родился, я рожусь, я к бытию и к жизни мчусь. Рожусь я в новолунной лире, рожусь я в младо-новом мире. Еще он не родился сам, но будет сей сверхвыси храм. На нем забудем горе, и суши нет, а есть лишь море. Не будет в море штиля—нет! Стихий вихрь грозой воспет! И буря молодого Сердца, влюбления крас прима, терцьа... И будет вечная волна, полна гармоньи, как струна. И элементы сил четыре в моем грядущем будет мире. Гроза, Вода, Гора, Волна, четыре—лира струн одна моя... И море в ней бушует, гору волна грозой целует! На голове у той горы в злат золоте младой поры от гребня волно-поцелуя родилась жизни Аллилуья. Она родила младолес, его воскормит грудь небес... Залит год круглый вечным светом, живет одной весною, летом. В лесу гнездится соловей, поет он в тишине ночей. Живет одна в лесу том роза, алеет, словно неба греза... Он вечно первый соловей с начала до конца всех дней, и роза та одна, младая, она чужая и родная! И вечно первая она. Не вздрогнула еще струна, смычек ее не прикасался, лишь зефир горный с ней игрался...

Анархия! Италия! Начало безначалия ласк ароматов выдыханья, красот миров родных мечтанья. Есть первенство — числ соловей. Гнездо в лесу преданья свей! Есть первенство святая сила, дневной луч первого светила... Бог—первенец, Мудрец, Певец, он унаследует венец! И Бог—он первенец творенья, он слово светоизреченья. И роза вечно струнная. Жена, весна, ночь лунная. И от слиянья первой трели роз соловья тоски свирели, от трели первой соловья, от перво выдыханья дня единственного аромата, дарила роза без возврата, от чар благоухания, от трели тоскования взаимного душ поцелуя—рожусь я, мир певцом даруя... Я преждевременно—пока! Кругом печаль и грусть, тоска! Еще тот Бог и не родился, что в новый мир б оборотился, и создал бы нам тот гор лес и море песенных чудес, и соловья в лесу, и розу и тихонежность, мирогрезу... Я есть Я-ты, и мы один, мы цельны, словно высь годин и вечно мы неразделимы, как элемент простой в химии. „Они“ есть наш коварный враг, они всетленья пепел, прах... Но кроме них есть человеки, что не Иудеи и не греки. Родил их переходный век... Суть люди, и не человек, число их старое, седое, число как Большинство, зло злое... Есть женско-мужеско чело и множественное число. Есть три числа: „три измеренья у человечества“—ученье мое гласит. Я-ты, „они“ и „вы“, ни ночи и ни дни. „Вы“ есть не я, не ты, а кто-то, молчит неписанное мото! Вы—есть не писанность, доска; меж берегов течет река; и я пишу им сочиненья, пиьсмо ль есть устное ученье?! Лишь устно проповедовать нельзя! Должно беседовать в письме! „Они“—враги крас мира, не им моя играет лира. О, первый выше всяких крас. Быть первым можно только раз. Кто первым был есть и последний, и с вечностью он друг соседний. Я первый и Ты первая, век вечности, теперь вая, живем. Я первый и последний, Я—эти дни и я есмь те дни... Никто не шел вперед меня, нет раньше разсветанья дня, и не пойдет никто за мною, где солнце взять, чтоб за луною шло? Кто мог мне путь указать? я есмь отец мой, я есмь мать! Последовать, Последо-

ватель? Проступок я и следовательно... Учитель я, самученик, в свое ученье сам я вник. Я утра свет и утра росы, передне задние колеса... Шли, шли, но до безумья троп, боялись, не дошли—эй, стоп!--до разума ума, и не хватало дум смелости, „Без“ их пугало... Шли—но не по тому пути, по коему должно идти, дабы попасть в Безумья царство, в Безсмысля вольно государство. Мне спойте гимн, гимн аллилуй! Раздался первый поцелуй! Вы главы вечно осеняйте! Колени вечно преклоняйте! Раздастся пусть Осанны гром! Велю ниц падать, бить челом! Спасением сердца забьются, молитвы крыльев слов польются! Молитвы чудеса творят, и с Богом высью говорят, и каждым слогом, Словом творят в крас Сердце чисто-новом Сверх милосердие лугов и добродетельность цветов, раскаяния алость розы, и чистого ключа душ слезы! Перв поцелуй родится ль вновь? Он, словно первая Любовь, звучит, предвечно продолжаясь, и вновь ваясь и извиваясь, он, как Безумье мысли Пять и вечно он речет опять. Он векотайна, кисть искусства, священник в храме полочувства, в святой святых дев младости и высшей мирорадости, он в небе пола лунье мило, зажгла его уст слово—сила... Он первый луч, он первый день, он первоночь, он первотень, он первый день творенья мира, он первый взлет сердец зефира... Он первый Сердца мира всход... Он сотворил людской весь род, его творит и создает и творчеством, как Бог, играет. Хоть ночь—все день! Зима—Весна! Светило встало вот со сна. Мир—комната. Камин пылает, огонь себе сам отвечает. И у камина мы сидим, у самого огня, горим. Камин пылает. Я с тобою... Мечта умчалась за мечтою. Одни. Нет никого кругом. Сидит Отец Твой за столом. Камин так сладостно пылает, Отец твой мне, Тебе мешаает. Близь нас твоя сестра сидит, и молча на камин глядит. Камин так трепетно пылает; сестра твоя нам не мешаает. Ведь не мешают Сестры нам; отец мешаает всем сынам! Отцы—вот вечная помеха для младости времен успеха, и для движения вперед стоячей Веры мысли вод. Отец ли Сыну не мешаает... Камин же все

таки пылает. И твой отец в очках читал, Он книгу в двух частях держал... Он близорук. Все близоруки Отцы, узрят ль то, что зрят внуки?... Иль сыновья?—Держу пари! Не им блеск золотой зари... Отец! Но мы его не видим, и тем его мы не обидим! Ужь такова отцов судьба! И с ними лишня и борьба! Зачем бороться нам с отцами—зачем?! Не зрите их межь нами! К чему отцы? К чему отец? Он не начало, не конец. Лишь мать нужна, свята, мать—гений, мать есть свет творчества без тени... Отец жь к чему? Отец—шаблон! Отец есть норма и закон. Отец не первый, не последний, не завтра, утром, а наперед... Учитель первый—Он велик, он гениальностию дик... Отцы же жалкая середина, прямая, ровная равнина... Средина проклята, ты, будь! Сует ученья тщетна грудь! Отец не первый, не последний, последователь он—и бредни... Отец... Отца не видим мы, мы видим, зрим камин, свет тьмы... Того, чего мы не желаем, того совсем не замечаем... Явлений масса истин крас ведь пропадает зря для нас, разсеянно не замечаем, внимания не обращаем... Безумец первый—Первый есть! Теченья против трудно гресть! Сильнее рек, морей теченья людской толпы предубежденья. К чему же нам, пойми, Отцы! К чему нам творчества скопцы! Они жнут то, что первый сеял... И зерна жрут, что первый веял... И рядом оба мы сидим. Молчу! Глас неисповедим и на огонь огнем люблюсь, и слухом с речию целуюсь... И речь огня тайн тайн полна, речь Бога, так речет струна, язык огня, язык надкрасный язык сверхсимволов опасный. Язык он сердца и ума и в нем на нем нет слова: тьма. Понятия он очищает и заблужденья разрушает. Внимаю... на Тебя смотрю. И я с огнем огнем горю. Свою я руку подымаю и на плечо вскользь опускаю твое... Ты вздрогнула, как мгла от света, от грозы хвала воды, Ты пламенем зардела и на отца Ты посмотрела. Отец твой был здесь, за столом. А за камином мы в родном мечтаньи, угли Ты мешаешь, поленице в камин кидаешь. И вспыхнул новый огонек, пылает, как зари восток. У огонька свое наречье, языков сердца Он предтеча.

Свое наречье, говор свой, у каждого язык иной. Язык их индивидуален, хоть радостен и не печален. И за щеку меня задел Твой локон и я обомлел, младое чудо совершилось... Все окружающее скрылось. Исчезло все... как нет мечты... И нет отца... А есть я Ты. И встретились уста, раздался стон-поцелуй... заколебался наш мир. Кто единил уста? Причина? Цель? Иль красота? Иль самоцель, самопричинность? Случайность ли одна единость. Раздался поцелуй, звук, тон, огонь затрещал. Пылает звон. Он вспыхивает и пылает, на арфе огненной играет. Он на твоих щеках горит, и про зарницу говорит. Ты поцелуя резвость, шалость, — и вся одна Ты радость, алость!... И поднял очи твой Отец, — и ими комнату в конец обвел... Шум? Звук? насторожился, и чтением пуще разрешился... преглупы — наши все отцы, глухонемы, к тому слепцы. Ведь сердца пенье раздалось над самым ухом... бдят колосья... Архангел! он в руке держал уст лиру и на ней играл и пел, струна заволновалась, и песня счастья улыбалась. Не слышал твой Отец... Он глух, слепое зренье... вкус... и слух... Сестра одна в углу сидела, во все лгаза на нас смотрела. Мне стало жаль сестры твоей, и больше не лобзал при ней Тебя, и поцелуй поныне в лобзания мечты святыне... Он вечно продолжается, что утро он рождается, вне времени он в миге вечен и вне пространства безконечен. В уста, в плечо и в две щеки... и в грудь... И в пальцы... и в виски... и в локон... и в твой подбородок... и в шею... в белый парус лодок... Что запах нежный твой вдыхал, и аромат твой близко знал, в ковер, по коему ступала нога твоя слегка устала, в цветок, который ты нашла, иль мимо коего прошла, Тень нежно-тихо наводила, и в луг по коему бродила... И в град, что пребыванием творила Ты гаданием и в небо, взором любовала, и в землю, над коей порхала. И в мир, в котором Ты живешь, и в воздух чистый, где берешь дыханье... В реку, где купалась... и в зеркало, где отражалась, и в молодое деревцо, что, может быть, твое лицо Оно листом, плодом ласкало... и в солнце, что тебя лобзало... — Целую первый

поцелуй, — струя начальных первых струй — он вечно, вечно продолжаем, и во-веки он не скончаем. Сегодня целовал весь день я всех и все, и свет, и тень, и траву, не рукой — устами, былинки обменялись снами, любила травку внешне Ты, ее поила сном мечты и аромат ее вдыхала, по ней зимой Ты тосковала. И помню ваш я сеновал! — И воду я поцеловал, что страж принес мне, чтоб умыться, ей Богу! Не на что решиться! Свята река, волна, вода, и в ней твой лик и красота и отражались, и купались, и запахом твоим питались. Тебе семнадцать было лет. Я тьма ума и сердца свет, я сердце нежное, что родит Безмыслицу, Безумьем бродит. И воздух ныне целовал я, как начало всех начал творца, тебя он окружает, и темноту свою свергает. Он от Тебя прозрачным стал. Я все деревья целовал, ведь дерево ты молодое в саду, в раю души, святое. Я сторожа поцеловал, ведь видел он Тебя, видал, как Ты меня, мечта, лобзаешь... Меня из мертвых воскрешаешь... И тени от Твоей — пастух... и на него сошел Твой дух, хоть он и раб, слуга — положим, — но могут быть ведь в духе Божьем даже и рабыни и рабы! — Бог милостивее судьбы! — равны пред Божиим законом, глаголет всем святым он тоном. И к печи я моей припал, ее я целовал, лобзал; — „камина, Ты, сестра родная“ — я говорил, ее лаская. И сторож мой при том стоял, согласно головой вилял. — Известна мне небес дорога, пойду поцеловать я Бога. Великий он Творец, пиит, на небе он седьмом сидит, по поцелуе зорь скучая, творя красу миров, играя, из вечной творческой тоски, что превышает языки, и выше слова выраженья, и выше звука арфы пенья. Сидит он там... И высь плетет, и поцелуя томно ждет, лобзания Науки Веры и высшего Безумья сферы... Тогда — родится новый мир, без тяготения эфир, и мир без знания, без воззренья, мир действ деянья измененья... И мыслей мир, мир чувств игры, прелестнее утра горы, не мир познания и света — а поцелуйная планета... Они не пустят, я боюсь... Но против них я умудрюсь! И ночью выберусь отсюда, и выйду в сад один, — Спи, Иуда! — Лишь до забора... а там в

лес. И вот готов мой план кудес. Я твердо знаю путь до-
рогу из леса шаг один, шаг к Богу! Иду к Тебе, скорбя
любя! И поцелую я Тебя, несут меня Безумья струи — несут
Тебе, Бог, поцелуй!

первый поцелуй!



VIII-ая ПЕСНЬ.

čaj = 18.

Мне было восемнадцать лет, и лучезарен был весь свет.
На восемнадцатой я Лире играю... И родился в мире Я во-
семнадцатом... Луной обласкан я, молодой женой, и в восем-
надцатом столетии живу... И чары дивной сети из восемнад-
цати плету, в числе сем зрю я красоту. Мне восемнадца-
тость, неделя... живу, любовь роз жизни треля... Мне лун-
ный месяц красоты, мне месяц жизни и мечты. День восем-
надцатый недели, мне восемнадцать птичек пели. И восем-
надцатый мне шик. Блажен Иудеев сед язык: в нем буквы
цифры значат тоже, древней, а потому моложе он всех
языков, слилися в одно, гнездом в нем свилися два языка,
числа и Речи... На солнце чувства, словно плечи Девы
чуда выражения сверкают без затмения могучие число и
слово, эллинов Бог и сам Иегова. И их соединение рождает
нам Творение миров красот благоуханий таинственных крас
вышиваний. Чај означает жизнь и жив, и слог сей мил
медоточив, живую жизнь нам обещает, на слухе нашем он
играет. Гимн жизни и Бытья хвалу чај восемнадцати числу
равняется. При тел ваяньях, при милостыни подаяньях числом
сим руководится Еврей: раз чај, чај водится, два фаза чај,
четыре раза, а чај разчај— есть сумма, фаза Луны звезды
рождения. Чај средство исцеления от всех болезней и неду-
гов, опасностей и от испуггов. И велика в том тайна их суще-
ствования до сих пор: Сила чај'а всемогуща и сила эта вездесу-
ща. Колени мы преклоним... Храм воздвигнем... Вскурим
фимиам величию чај—и будем вечны и, как чај раз чај,
бесконечны... И словно чај живой воды мы будем жить в

выси звезды. Чај есть великий Бог, чај мира, он чај веков, времен порфира... Мне было восемнадцать лет, и более мне ныне нет. И вечно мне лишь чај и будет, моя жизнь чај'a не забудет. Они и жизни Тайн не чтят, ее стезей знать не хотят. В величья тайну чај войдите! Любую барышню спросите: минуло ей ужь сколько лет? И вечно слај (18)—ее ответ. И через год ее спросите—ответ тот самый же—поймите! Прошло ей восемнадцать лет. Девушки каждой чај обет. Она и чувствует, и знает и, может, даже понимает, что дальше чај'a нам нельзя идти... Чај наш предел, стезя. У горничных, у Дев учитесь, и мудростью заручитесь! Лишь девы, как остановить поток времен и млада снить, великость тайны жизни знают, и никого не посвящают... Оне владеют с каждым сном, когда стареемся кругом, владеют с каждою весною и с каждою новою Луною. Научат барышни пусть вас вместить в чај радуго прекрас. Живите и жизнь разумеете, и с каждым годом молодейте! И чај есть Мой и Твой завет, мне было, будет, есть чај лет. Безсмертья нашего в сем тайна. Мне чај, Тебе—чај не случайно. Кто тайну барышням открыл? На них дух чај'a как почил? Ведь все равно откуда знают, они чај чтят да почитают. Мне было восемнадцать лет, а чај поэтами воспет. Да, восемнадцать, чај лобзаний, а поцелуи счет незнанья. В конце целую чај раз чај, родится поцелуйный рай, и древо чај'a на вершине и в том раю мы и ныне... Период поцелуев чај: балуй, ласкай, целуй, лобзай. И каждодневно, каждлочно, ее целуй чај раз чај точно! Мне было восемнадцать лет, а чај в Поэзию одет, лишь крышу вижу—сердце бьется, навстречу крыше так и рвется. Мне было восемнадцать лет, а чај во тьме есть плоти свет. И все твое мне свято было, и негой зелененья слыло! Чу! Веет тихий ветерок, плывет и тянет на восток, через него я поцелуй тебе шлю, Сердца теплоть, струи... Вот птица мчится на восток, ее догнать дух сердца мог. Принять чај-поцелуй—чај просит, предать Тебе—и Та уносит... Под крылышко его берет, иль в трепете крыла несет, иль в

песне и в своем напеве...—и вот сидит она на древе, она поет, она поет, на ветке песнею уснет. А Ты выходишь. Ты садишься под древо, звукам тем дивишься, и чудную песнь слышишь ту, и чувствуешь чар красоту, и крылышко ты наблюдаешь, и поцелуй Ты вдыхаешь. Их видишь Ты, их слышишь Ты во звуках чистых высоты, и поцелуй Ты вкушаешь, и в счастье сердцем замираешь. На запад ухожу гулять—к Тебе вращаюсь опять. И твоего я дома мимо вот прохожу, неотразимо влечет, несет к Тебе меня, как бабочку душа огня. Не я иду—ведет дорога, противиться мне недомага. На север ли иду, а путь велет к Тебе, равниной—круть... На юг иду—к Тебе стезею ведет меня прямой, святою. И издали зрю, вижу я, окно твое зовет меня, зовет и манит, как ласк тени, и вижу я насквозь чрез гений... Насквозь ночь темную, сквозь мглу... Ты на диване, там в углу. Ведут все стороны четыре к Тебе, дорога путь—пошире. К Тебе и небо, и Хвала и свет, и день, и ночь, и мгла, и сатана и неба Боги—к Тебе стези, пути, дороги! Ступени к вечной красоте, что создала Ты не в мечте, а в тела дивном изваянье, гармонии души слиянье. И рядом я сижу с тобой, я луч, я светлый ответ твой... Ты ль знаешь? У тебя нет тени, у душ светила нет затмений. И я сижу у ног твоих. Сижу я на ковре. Я тих. Я весь в молитвах и моленьях, глава моя в твоих коленях. И дух мой сладко-нежно спит, он чарами лкбви обвит. Твои колени я целую, блаженство с счастьем я рифмую. Ты поцелуй послала мне. Зову тебя я к тишине. И сердце эхом отвечает, и эхо отзвуком встречает! Звук любит звук... Шаг слышен вдруг, идет ли недруг, или друг? Идет сестра твоя?—не встану! Отец грядет?—ласкать престану тебя... Шаг твердый... Да, отец не может не мешать в конец шаг твердый... так отцы ступают и так отцы и поступают. Да! встал. Напротив я сажусь на стул и гневаюсь, сержусь. Отец заходит и выходит, и холодность с собой приводит. За то, что скоро он ушел благословлю его, хошь зол за то, что он пришел. Прощаю. И грех его я забываю. Ласкать и пе-

ловать, обнять! И на ковер сажусь опять, но не люблю я повторяться, разнообразьем притворяться Учу... Тебя беру со мной. Сидим. Одни. Ковер ужь мой. И наши предки так сидели, и стульев гадких не имели. Пусть стулья будут прокляты! О, пол, порок ли Ты?! Они людей раз'единяют, и друг от друга удаляют. Стул, Кресло, Трон раз'единить пришли.— А я пришел любить! И царствуют, раз'единяя, ласкаю я, Я осеняя. Пришел стул, кресло царствовать, а трон пришел коварствовать, пытать. И стул я презираю, все стулья, кресла отрицаю. Сегодня на полу сидел весь день и стульев злость велел я вынести. Их презираю, от всей души их проклиная. Не в моготу мне стул... стул стал, и помню сколько я страдал от стула... Огрицательная мощь-сила и гадательная... Долой! Сажу я на полу, и полу я пою хвалу, принадлежит, влечет пол к полу, как времени все три — к глаголу. Должны два пола стать одним, бдит молодость в выси долин. Пол тянет, манит с стула к полу, как тяготенье к низу, к долу. Есть ль случай — случай Языка? Не случай — а цель шашлыка... Цель — Божество, цель и смысл мира... и на полу играет Лира... И сердце, песню создал пол. Любовь — добро, но не без зол. Вот я дошел, добрел до леса, белеет предо мной завеса. И лучезарно и светло, кругом все голо на-голо... Белизна снег не есть облаченье, понятие — не рассужденье. Деревья голые стоят и тишиною говорят без шумных листьев облаченья, без хитрых, мудрых лжеучений. Одежда всем для красоты, не для тепла. Везде мечты! Вы на деревья посмотрите — мысль голую сию поймите! Наги деревья все зимой, когда палит мороза зной, и листья одевают летом, когда тепло зовется светом. Одежда лишь для красоты, как духомир для высоты. А Веру пусть творит нам Азья — оденся, глупость, безобразье!.. Оденется земля, что тьмы черней, а мы? Сердца, умы? Мы голы в мыслемире будем и облачения забудем. Мы плод от древа знания науки толкования наивной мудрости ли рвали? И кислый плод не мы вкушали! И пусть прикроют срамоту незнания и суету они листьями Вер, Науки! — Но нам зачем

пиджак и брюки?! И виноват ль людской весь род, что предки наши знания плод запретно ядовитой ели, одежду, платие одели?! И на диване ты сидишь.. Я вижу дремлешь, полуспишь, по царству сна мечтой ступаешь, крылами тихих грез порхаешь. И солнце смотрит чрез окно, и светлый свет шлет-ллет оно, и птички сладко напевают, и песнями красот мигают. Лучи престол Тебе дарят, и ножечки его златяг, вот пурпуром зорь прикрывают и золото с пурпуром сливают. И даль далее тебя не тмит, я вижу твой диван стоит у той стены... Под головою подушка у тебя... Рукою Ты подперла главу свою. Смотрю, гляжу и вижу, зрю. Ведь эта ручка всосала лобзаний столько, что им стала. Она мне представляется, как уст краса является. Глаза твои, смотрю, закрыты и светом трепетанья сыты. И локон светлый, золотой вот взвился резвою волной... Твое чело он украшает и нежно бровь твою лобзает. И на щеках твоих заря восходит, днем души горя, и розами благоухая и ароматом тела Рая. На цыпочках к тебе вхожу, я подхожу, я весь дрожу... Благоговею, я озираюсь, и над тобою нагибаюсь. Ты улыбаешься во сне! Кому? Иль ангелу иль мне, иль Богу сна. Я наклоняюсь, и поцелуем я родняюсь. И поцелуй в тиши играл, то я тебя поцеловал; глаза испуганно открыла, величие лобзанья всплыло. Манит, пугает и влечет, он сын надоблачных высот души и дола низа Тела... Могучесть, сила, что умела мир человека покорить — я поцелуй люблю творить! И поцелуем закрываю тебе глаза... Люблю! Лобзаю! И поцелуй струной дрожит, и лирою небес звучит, и в поцелуях утопаешь и выси глубины их знаешь. И поцелуев мчится рой, и пенится вино волной, волн восемнадцать поцелуя... Лет восемнадцать — Аллилуйя! А у меня нога болит. Я охромел, но не пиит! Хромания я понимаю причину... О, нет! Попадаю в их образ выражения, сын ложного движения: в явленьях мира нет причины, как в лезвии меча — пучины. И случая простого нет! Причина, случай — темный свет! Соотносительность понятия причины — случай, словно тятя и сын...

Лишь отрицание есть случай, дум мараение. Причин повыше отрицанья я, случай громкий без названья... Все три: Причина, Случай, Цель—есть сердца и ума свирель. Из них творю одно понятье, как из кусков сшивают платье. Но у меня болит нога, ходьбе не служит мой слуга. И сильно, больно я хромаю, и это так я понимаю: от неупотребления нога до вырождения дошла... Лишь рудименты ноги... и как шоссе-ные дороги в век пара... к черту мне оне, ведь вечно я в грез вышине, певец и выси я мечтатель... Мне крылья! Ибо я летатель... Всекрылый я, как мысли Бог, и обхожусь совсем без ног. Моя нога вот разозлилась, к земле давно не опустилась. Учение—к забвению! А вырод—к вырождению! Я против ног и всех устоев, стоячих слоев... и героев... Пословица: „у лжи нет ног“, а крылья! да! Она, как Бог, и у нее крыло светила, ложь—превеликая сил сила! Воздвигнуты все храмы ей с начала до конца всех дней, и университеты—школы и отданы ей дети голы... А правде—сумасшедший дом, и то в Лун веке лишь одном, и их так мало... Лжи же служит и воспитанье... С нею дружит и Вера, Церковь и Костел, Мечеть, Божница и Осел. На каждом же лугу лягушки, так школа в каждой деревушке. Домов же сумасшедших нет! И потому так темен свет! От Идола он не спасался и в Сеть Науки вот попался. Безумья пчелы, дайте мед! Несчастных Умниц мы народ! Никто у нас с ума не сходит и никого с ума не сводит. В лесу сошел один лишь Лев с ума, его Безумьем Рев отдался... Но лишь временами и между умополосами... Безумие он постигал, порой в Науку он лягал, но все с опаскою, с оглядкой и с примесью поверья сладкой. Один лишь Лев с ума сошел! Безумьем жжег его глагол! И в поле хоть один не воин—венца безумья он достоин! Несчастный, жалкий мы народ! Заместо Разума—снег лед... А без ума ведь нет безумья, и вместо Думы—недодумье... Хромаю, ибо я поэт! Хромал Байрон—то знает свет. Не есть поэт, кто не хромает, не есть собака, кто не лаает. Поэт и Гете не хромают, он шел, ходил, бродил, буждал. Его затейливость

дороги—он не поэт, он был двуногий. Поэт сверхкрылым должен быть, лететь, летать, крылами плыть, парить, крыльить и ширить, мчаться, с ноги устоем не якшаться! Будь у людей одна нога, я б отрубил, как зла рога, Ее... Летать я бы заставил тебя, двуногий, жалкий Дьявол! Ты не умел б идти, ходить, пришлось бы нехотя крыльить. Нужда родной руководитель! Безногий по нужде крыльитель! Сегодня по двору порхал Я, может быть, что угадал. И вот стоит один, я знаю его... Люблю и почитаю. Он колет топором дрова, летят вокруг шепки как слова. Вы слышали слова, как холят, вы видели дрова, как колют. Чтoб бросить можно было в печь, чтоб легче было подожечь—раскалываем мы полено, и коням сушим траву—в сено... И так находят в слове Слог. Полено вдоль и поперек одно, полено на полене не есть поленьев единенье... Полено поперек и вдоль не есть соединенья Роль... А есть креста волшебность, тайность, причина, цельность и случайность... Топор вот поднял он, раздался вздох, ах, ох, иль стон... И топором он размахнулся... Топор на солнце улыбнулся... И искрист стай улыбок хор! Есть сила грубая топор, топор не речь, не меч, не слово, он поразит, убьет Любого! Он все же сила, Острие! И в силе жизнь и Мощь, Бытье! А сила лучше ведь безсилья... Противна слабости идиллья! Лишь в силе жизни темный бор! Он опустить хотел топор! Тут за топор я ухватился, „отдай топор!“—я возмолвился.— „На что Тебе, скажи, топор?“ Межь нами завязался спор. Законы логики так строги:— „Я отрублю враз обе ноги и вырастет Тебе крыло—летай, порхай, греби, весло! На что Тебе нога погана?! Ты медлишь, человек? Как странно! Крылом орла ты полетишь, отдай топор, чего стоишь, зришь выпученными глазами. Ведь говорю Тебе словами“... Меня никак не понял он, и дровосек исчез, как сон. Если б мысль мою уразумели, давно летать бы все умели. По поднебесью мчится Рысь... И населяли бы, глубь, Высь... Должны начать мы с Человека—а человечество сон века! Подрежьте ноги вы ему, и вырастет крыло уму его, клянусь я словом

честным, божусь безумья словом крестным! Гарантии я вам даю, я голову кладу свою, своим Безсмертьем отвечаю, что крылья выростут — я знаю! Есть крылья у меня орла, да у меня ног нет, тьма-мгла никак меня не переносит, а потому крыло уносит в высь, в синность, чистость, в небеса! Творит, чеканит Чудеса всеестество Нужды и крайность, крыло и птица не случайность! И шла Ты впереди меня, как искра впереди огня; Тебя везде, повсюду вижу, Твои кораллы сердцем нижу. Я знаю, вижу — это Ты. Ты ангел вечной красоты. Сидишь теперь ведь дома — знаю, а все таки я убеждаю себя: идешь навстречу мне. Так явь и сон цветут во сне. Сидишь Ты дома на диване... И вся — Ты солнце в утр тумане... Влюбленности и грез мечты — мои стихи читаешь Ты! Читаешь песню за другою. Летишь орлицей за строкою. Окно закат дня золотит, и лист в твоих руках горит. Последнюю песнь ты читаешь, и, как прощаясь, ласкаешь. Ведь писана она Одной Тебе, мной, но Твоею рукой. Я песнь творил Тебе Тобою, дыша Твоею Красотою, и воздухом души целин. Я прозу напишу один, стихи все под твою диктовку пишу, и то рукой неловкой! Меня учила ты писать стихи и песни, словно Мать родная, что Ходить манила Меня и Говорить. Светила крас Твоего они лучи! И песни, словно чар мечи, на солнце полдневном сверкают, души цветами преливают. Тебе посвящены Оне. Что от Весны, все то к Весне. Ты скрыто в ней Мечтой Витаешь, они твой храм, в них обитаешь. Оне предвечней Красоты Краса, слияние Я-Ты. Я к Ты мечтой в выси восходит и снова песню песней родит... Я говорил к Себе, к Я-Ты, и гласом соловья Мечты, песнь вечную тоской рождая, песнь песни врат земного рая. Кругом полна безмолвия тишь. Стихи читаешь и горишь Сердец и Младости Восходом, Зарею Плоти, небосводом. Читаешь раз, читаешь два, манят Тебя огня слова. Прочла — и страстно их лобзаешь... На грудь! К груди их прижимаешь. И на груди Ты носишь их, Волнует грудь Твою мой стих, и вздрагивает грудь порою, читает осязания волною... Целует песнь в груди

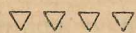
волну, от сна — и к Яви и ко Сиу! И грудь ритмично поднималась и пенилась и волновалась. Кровь потекла быстрее, теплей... И искрится в глазах рай дней и тьму кругом днем освещают, во тьме ночей Огонь зажигают. И вот встряхнула Ты главой, и взбились локоны золотой волной. Сейчас же улеглись, в рябь легкую вмиг разбрелись. Ты подошла к Окну. Стоишь Ты у окна. Закат следишь. Закат так розов и так ясен, а снег сверхбел, местами красен. Ты барабанишь по стеклу, и песни тени по челу порхают Твоему. Дробь нежно рассыпалась легко — надежно, и под твоими пальцами песнь звуков шьется пальцами: и в клавиши оборотилось стекло, и пение родилось... Окно нам стало, что Рояль. Окно поет Тоску, Печаль. Дрожит и воздух гармонично, заря горит огнем ритмично. И отозвалась эхом высь и тучки слов — Надежды Мыс, все про огонь зари забыли, на месте песни и застыли... Великая мощь песнь — краса, и облака, и небеса ту песню слушая, сгорели, сгорая с песней, песню пели... Под звуки песни я сгореть хочу, как песня умереть. Как люди умерли велико и мученики нежно-дико. И на костре огонь пылал, и сердце их Огонь лизал. Они хвалу Безсмертью пели, жить, умереть Они умели! Они не видели Огня, им песня пела вдаль меня, и дивную песнь напевали, и с песней звонко умирали. Святая Истина-Жена, играла песнь, — цвела Весна — им по стеклу. Игра — сверхсила, а песня новая — светило! Огонь пылал и стлался дым, играла песня всем Святым... Огонь тушили нежно трели... И не сгорев, они сгорели. На крыльях песни унеслась, душа их с далью чувств срослась... И с Небом новой истин Веры, красот и чувства новой сферы. Услышав песню умереть хочу и песнею сгореть. Меня сожгли, меня сожгите, из пепла Нови песнь сочите! Услышал песню я Твою, ее я слышу и я зрю, я был далек, я был так близок, я так высок, и я так низок. Любовью чудеса творю, у твоего окна стою и в дом вхожу, едва ступая, тихонько, словно дух, порхая. Стоишь и смотришь на закат, и локоны, сестра и брат. Красив заход, восход красивый, и локоны Твои игривы.

К Тебе тихонько подхожу и гимн молитвы я рожу... Ко мне лицом Ты обернулась, и станом Ты слегка нагнулась. Твоя песнь принесла меня к Тебе, огнем мечты маня, Твои уста раз, два целую, уста с устами я рифмую. Есть поцелуй — небес мечта, и в поцелуе — красота. Рукой обвил Твою я шею... И с каждым мигом я смею и я Тебя к груди прижал своей... Два мига мы зеркал воды. И поцелуй раздался... И новым ново отозвался. Есть поцелуй рождение... Есть поцелуй — уст пение. И поцелуй весной родился и на устах, как звук, явился чист поцелуй, как синевы высь, поцелуй есть цвет травы и плод... И нет плода другого, чист поцелуй, как Девы слово; и грудь к груди, уста к устам! Курили Богу фимиам любви. Мы, стоя, целовались, ласкались и обнимались. И зашумели тел леса, — рассыпалась твоя коса. Улыбочка орлом взлетела и на устах Сном заалела... Вспорхнула Ты — и за рояль вот села. Статуя Печаль. У ног твоих я опустился, слезою счастья я излился. И пальцы — органы души, целуют клавиши в тиши. Что может раз во-век присниться, что может Жизнью в жизнь родиться — создано, рождалось и чудом эхом звалось! Что никакая мифа лира мне не играла, из зефира Ты соткала игрой Твоей, — то солнце было Чар ночей, медовость месяца, пьянее вина страстей... Небес яснее... Закат зарею догорал, горел, горел и погухал... Исчезла светлость, огнесказки, на ветках уж замолкли краски... И тени в комнату вошли, на них одежда, прах земли. И тени с светом целовались причудливо, в каприз игрались, песнь лилась, звуки унеслись, кружились, на лугах паслись, как песен бабочки порхали, как бабочки вдруг умирали... Дрожит души твоей струна, и вот родилась волна; волна волну волной целует и песне быстроту дарует. И мчится вдаль волна, Туда! Ее зовет тоски звезда, и грусть, печаль куда-то манит и чарами куда-то тянет. И пена белоснежная, как ласка серпесмежная, сон сна дарит, вдруг исчезает, себя являет, — отрицает. И вдруг течет напев — река, о, живописны берега, река плывет волшебю мило, в волнах купается светило. Растут деревья

на берегах; стоит вон дева вся в лучах, она белье в воде стирает, а валиком и выбивает. И брызги искрами летят. И не затейливый наряд ее на солнце весь лучится, лик девы сказкой стать решится. Грудь круглая и стройная. Подол загнут... Вся знойная... Нога видна нагая голо — белей молодой березки дола... Она глядится вся в реке, как юная душа в тоске. Она вдруг главу поднимает, лицо зарделось и пылает, как солнце-молодость горит. Она, как символ сна, стоит и, как покой, невозмутима, река течет, течет все мимо. Песнь льется. Я у ног твоих; ночь, лунна, струнна, словно стих. Тих челн. Луна в воде глядится; вода луною серебрится. Тишь... Тишь... Луна купается в воде... Зыбь освещается, вода течет, молчит... Чу! Лепет невнятный слышен и волн трепет... И серебрится рябь да зыбь, как чешуя серебряных рыб, и челн скользит по ряби лунной, и всплеск воды — глас песни струнной... Челн мчит течение, поток, он носится все на восток, мы весла наши положили, мы оба гресть давно забыли. Твои глаза целуют Даль, целую я Твою печаль, тоску и тихое томленье, души я чую возрождение и в утр восходе светлых дней.. И бабочкой в сенях кудрей Твоих золотых запугиваюсь, в твой запах я укутываюсь. А даль так манит и зовет, Даль Низа, Даль далее высот, зовет так тихо, еле, Трелью тоски, вечернею свирелью. И вот холмится песнь. Гора. Весна. Восток. Утра зора. Восток горит, восток пылает, да вот уже и рассветает. Горит. Вот океан огня... Предшественники бела дня... Земля в объятьях неба спала, а небо от земли зачало... А не земля от неба... Лес... В выси все чудо из чудес! И небо солнце утром родит, и тень, и свет с собой приводит. В моих объятьях Ты была всю ночь. Я — небо. Ты — Хвала. И я горю, и я рождаю, Я солнцем новым рассветаю. Я солнце новой Красоты, Я солнце новой Правоты, Я солнце молодого мира, Я — солнце и Я — новолира, Я солнце Истины Вёсны, Я солнце новой Дня Жены, Я солнце нового Безумья, Я солнце песни младозумья. Я солнце новое в груди, Я — солнце новое в пути и солнце нового я Чувства, и

солнце нового Искусства... Целуешь клавиши души, рождается песнь в ласк тиши... Блаженство соприкосновения глядится ярко в песнопенье... И льются звуки, льется песнь. Мир для той песни узок тесен, и тени пляшут хороводы, и в песне вижу небосводы... Сверхмира нового в мечте... И полутьма, мрак в красоте. Шаги. Отец: „О, зажигайте! Зачем, вы, в темноту играете!“ Ты встала. Песня умерла. К столу Ты мигом подошла! И так темно, так светло стало, душа с небес, как луч, упала. Заплакал я и в угол сел, тотчас Ты подошла... Робел... Я, слезы Песнь души родила, слеза Тебя и приводила. Сегодня плакал я весь день, оплакал Свет, оплакал Тень. Алмазы мне создать хотелось, и их рождает слез уместность. Слеза роняема в тиши, алмаз чистейший он души. И я бы вечно проклял Бога, если б создал он глаз без истока слезы! Прошаю все грехи Ему, и прозу, и стихи, что натворил он при создании, сознательно и без сознанья, как при создании жены, как при создании сатаны... Не создал Женщины... Адаму Жену, а людям Еву, Маму... Мы создадим красу-жену и Пола Новую весну... Но за слезу я все прошаю Ему, слезу я воспеваю... О, знайте, созданы глаза лишь для слезы. Слеза! Слеза! Слеза есть Бог души! Иегова! Слеза и тише, выше Слова! Я-Ты мы суть одна слеза, души молодой весны гроза; и я молюсь слеза слезою и песней вешней молодою!.. Сегодня весь день я играл. Играл. Играл — не уставал. Мой инструмент любимый — скрипка, и песнь поет зыбучесть... гибко... Смычек и скрипочка — вот крест. То против мирозла протест! Мечта, меня Ты понимаешь и ухом чутким мне внимаешь. Он был великим скрипачем! Разит его песнь, словно гром. Крест — скрипка мира и спасенье, Крест есть величество, песнопенье... Он был безумцем — я клянусь! И скрипкою я угощусь! Его люблю и уважаю, на скрипке Я, как Он, играю. Рука вот вдоль и поперек, рука есть скрипка и смычек, его люблю и уважаю, на скрипке я ему играю!

Сhaj! (18).



IX-я ПЕСНЬ

арест!

Ночь. Поздно. Тьма и тишина. Дрожит в тиши миров струна. Не поздно я и я не рано, изменчиво ль есть постоянно. Я раньше, преждевременно. Безумьем Я беременно. Поймут меня уж слишком поздно, а ночь тиха, ясна и звездна. Что рано раньше — поздно есть. И „ранним“ должно сильно гресть! Я Бога вижу в чар природе. Закат я вижу в дня восходе и в темной ночи вижу день, во свете вижу темность, тень. И в льдах зимы Я вижу воды, в закатах чую новост, восходы... Я вижу осенью Весну. На суше мертво утону. Иду навстречу Ей душою. А лето вижу я зимою. И за камином, я в углу, несу стихи ей и хвалу, пою про лето и о красках, пою про солнце и о ласках. Пою о злата волосе, пою о спелом колосе, пою про песню и о птице, мечтаю и пою о жнице. Красива жница и млада, то Лета Дня земли — звезда. Красива, молода и струнна, и солнечно светла и лунна. В лучах купается Она. Срежь лета спелая весна... И щеки розами алеют, а груди млада пламенеют. Как вечер тихий настает, так песня спелая встает... И колос гнется, и ложится к ногам... И в верности божится... Пылет солнце в небесах и умиляется в красках... Залито светом светло поле, кругом и щебет, и раздолье... И манит издали цветок, прохладу шепчет ветерок... Слегка, легко, чуть, еле веет и волны сладострастья сеет. Вот колос спел, волнуется, волна с волной целуется. Волна и рябь вслед за волною бегут в Туда молодой Тропою... Несутся на конях-лучах, на спелых, трепетных речах, вдруг исчезают в крас волнение, — несется Нивы песнопенье... Трепещет колос,

Жница ждет. Ждет и боится: вот идет! Ступает жница, серп сверкает, горит в нем луч и не сгорает. В серпе глядится Солнца свет. И колос шепчет: да и нет. Тень пронеслась пролета Птицы... Да! От руки красивой жницы так хорошо, приятно пасть! Божественна такая страсть! Такое спелое паденье великое есть завершенье. Хочу сойти с ума высот от молодых мечты красот. Живителен яд жала змея, что называется: Идея. В закате вижу я восход. В застое вижу новый ход. В безумье вижу высший Разум и Ум, и Истина — все разом! В безумье Разум ум поймал, на собственные плечи стал! Он самого себя стал выше, ума дом на своей он крыше. Вот Разум выше стал Ума, так лето водит нам зима. Ум-Разум Разум отрицает и сим его и утверждает. Он не обманывает Вас, вы верьте разуму сей раз: когда себя опровергает и свой банкрот он оглашает. Его могущество, мощь в том, лишь в отрицании одном, доказывает он Разумно, что глупо все, что не безумно. Есть Истина таинственна едина и единственна: что никаких лжеистин нету. Так светит свет светло лишь свету. И больше той одной, младой и нету, нету никакой... Безумье ли ее родило, или она производила безумие?! Откуда знать могу? Я не желаю врать. Причина, Божество, Цель, Следствие суть Лжи и Путь, и Цель и Средство. Безумие и Правд Жена одно есть, как Дрожь и струна. Спугнуть ли знанья птичек стаю? Поверьте, верьте — я не знаю. Мне верьте, нечего и знать, должно лишь слышать и вкушать и осязать... воспойте гаммы действ, бросьте Истину, лжехамы! Науки и Искусств завет есть на Вселенную навет. Вы, девушки-женщину Любите! Не понимайте — а Творите! Ночь. Поздно. Мне пора домой. И я прощаюсь с Тобой. Поцеловал я на прощанье Тебя... Лобзанье „до-свиданья“. И сколько раз я целовал Тебя за ночь? Язык молчал, число молчит, не разглашает, число числа само не знает. Его лобзанье превзошло, опередило. И Число безсильно против поцелуя, неисчислимы уст роз струи. А, может, даже два врага, как Океан и берега, Число и Меры исчисленье и поцелуев пов-

торенье. И, словно Рок в своей Судьбе, имеет поцелуй в себе Число, сказать так, внутреннее, как бдит в вечернем утреннее. Есть Поцелуй — Число и блик соединены вместе, — миг лобзанья дольше жизни века, как Ангел выше Человека. Имеет поцелуй Число свое и свой язык, „светло“ свое, свое „темно“ и Тени — Он демон, сатана и Гений. Бдит поцелуй вне языка, как тихая весны тоска. Бдит поцелуй вне чисел прозы, капризен, волен, как угрозы... И поцелуй вне пут стиха, свободней смерти и греха; и поцелуй превыше песен, и поцелуй пьянее весен. И полные леса стихов, что ароматнее цветов ничто ничтожное в сравненье с тем поцелуем наслажденья. И Песни золотой Миры, которым брезжит лик Горы, ничто, Прах — против поцелуя, что, в розовых устах ночуя и дня, соловьем живет... Его Пол к Полу, как дар, шлет. Мужчина Женщину целует, трель соловьиною ворует. О бросьте же писать стихи! И к черту шлите все грехи! Целуйте Женщину, целуйте! И Полу голубем воркуйте! Стихи пишу, творю тогда, когда Там... в небесах звезда моя померкла, и тоскую по поцелуе уст... Рифмую я с горя, с грусти и с тоски, и вместо роз уст — слов цветки плету в венки, тоской сплетаю, и сам себя венком венчаю. Стих поцелуя — скорбь, закат, ничтожный жалкий суррогат, как Бог Царя нам заменяет. — Где поцелуй уст, щек линияет, там Стих живет и Сном поет, нам помогая Пола гнет носить... Стих бледен и безкровен... И хоть извилист, все же ровен. Люблю я песни и стихи, в коих витают крас духи лобзанья девы уст медовых в тиши Теней лесов сосновых... Люблю лишь те стихи, в коих звучит гармония уст моих, ласк эхом тела отзываясь, в тиши эфира отражаясь. Но более всего люблю я поцелуй. Его молю Я у Тебя. Ему молюся, к нему душой, орлом стремлюся. Я встал. Ты провожать меня пошла... И распрощался я кивком главы с Твоей сестрою... Не подобает ли герою?! Слабее я чар Красоты Твоей... Уйти? Цветут цветы... Опять сажусь и вынимаю часы. Секунды я считаю. О, ненавижу я часы! Они лишают всей красы всевремени, оча-

ронанья и тихого его умчанья. Дерзнул кто в время нам внести число? Веслом времен грести в край-Вечность? Кто? Святое время, идея Бога, мира семя! Делить то неделимое, числу неисчислимое кто смел подвергнуть? Профанацья! Проклятая цивилизацья! В абстракцию кто рек: пали! И Вечность на час Низвели! Кто смел считать нескитанное, пытаться в век неспытанное? И будь Я: сумасшедший бог, что все он может, как все мог, а не безумным Человеком, что дажь в безумье связан веком, и тяготеет над ним век, как над Европой дикий Грек и дажь когда с ума он сходит, по хоженным тропинкам бродит; разумный Бог не всемогущ, Он вековечен, вездесущ. Пойти не может против Бога Бог, словно Слово против слога... Всеправд орлом Бог должен вить, не может Бог в раздор вступить с самим собою; должен целым быть и гармониею спелым. Пойти Бог против Правд Жены не может, как дух Сатаны на-против Лжи и злодеянья и злого Мироодеянья. Бог сумасшедший — Всемогущ! Безумья дух грозой несущ, сердец грозой пробужденья, всесилою истин заблужденья. И будь я: Сумасшедший Бог, Я бы разбил на пыль, пыль крох, Часы, и Время из Плененья освободил б без промедленья. Часы — заклятый грозный враг мой, мне противны, словно прах. Я ненавижу цифру, меру, люблю неизмеримость, сферу. Противен мне вид римских цифр, тех сатафинских чисел шифр. Они иль палки, или точки; а точки — Палки внучки, дочки... Я против палки; Цифра есть же палка; цифра бич и месть жестокого Однообразья высокому разнообразью. Есть цифра крепость умной тьмы; и цифрой глупые умы нам диктовали все законы! И цифрами научность, троны воздвигнуты! Нелепости, наивные свирепости их цифрами одними дышут, латинской буквою их пишут. Глас диавола есть сей язык, античный, грубый создал рык Его, Твердыня, дисциплина и варварства годов година. И я постился б сорок лет, чтобы его простыл и след злой в памяти Моей, забвенью его предал б и смерти тенью карал... Четыреста я лет готов поститься, чтобы свет освободить мог от Науки,

от этой новой, старой муки... Без головы вот лысина! Наука вся написана латинским языком и буквой, прекистой, горькой мысли клюквой... Хочу науку зарубить забвеньем ее убить до тла, как б не существовала, законов, как б не основала. Ее природу дажь забыть, забвеньем на смерть утратить! Ее природа — вот Научный, жестокий фетиш и докучный. Его Научники все чтят, умы их с верой ночи спят. Лишь Ты, лишь Я люблю Природу, огонь так обожает воду... Природа — Ты, Богиня — Ты! Ты воплощенье Красоты Искусства, Человека, Бога — Ты к Красоте путь и дорога... Как Море в час гроз, был я зол, Часы я вынул и на стол их положил... Смотрю, считаю часы, в душе их проклинаю... В негодованья я бреду... „чрез десять, пять минут уйду“! Сестра Твоя тут засмеялась, а Ты улыбкой забавлялась... Ты села. Рядом сел с Тобой Я, и душа — волна волной! И сердце бьется и клокочет, уйти не может и не хочет. Целую я Тебя! Сижусь... А в сердце Мыслей рыб ужу. Тебе венки плету, сплетаю из поцелуев, что срываю: вот я Твое чело обвил. Дым благовонья уст кадил — и перлы я нанизываю... Из дна души их вызываю. Раз, раз, два раза, раза три — в присутствии твоей зари, шнурка три перлов и жемчужин, в шнурке чай светлых, чудных дюжин... Прекраснейший перл — Поцелуй, не черпай, Ты, его — волной! Он перл души молодой и Чувства, и жемчуг Пола, и Искусства... И серьги со бриллиантами... Спинозы, Дюмы с Кантами дарю. Два поцелуя в ухо... Я задыхаюсь... Мало духа... Знай, самый Жгучий бриллиант есть поцелуй уст дев... Талант великий Он и пола гений, Он драгоценный свет без Тени... И обручения кольцо есть поцелуй в глаза, в лицо. Тебе и кольца и браслеты, лобзаньем греты и налеты. В конец и несколько цветов я в волосы их вплел без слов, а самый маленький цветочек есть поцелуйный ангелочек. И десять уж минут прошли! О, чадо времени, вали! — Вيني часы! Причем тут время, из за часов Ты вечность — Племя крылатое вчинишь?! Встаю и нежно ручку жму твою. На стул в бессилье опускаюсь, борюсь с бессильем, маюсь, Я

мощь и я безсилые, я духа изобилие и силы крайний недостаток, я вечность вечная, миг краток. Я не могу уйти! В чем суть? Чрез пять минут готов мой путь... Сестра смеется надо мною. Ты улыбаешься луною. Сдержу ли слово на сей раз? Сижу, молчу, тебе в прав глаз смотрю, а правый ведь не левый, люблю я Око младевы. Шесть... Семь... минут прошло — встаю! Два шага... Шаг... Три... Стою! Иду обратно и сажусь, я не могу уйти — сержусь! Опять сажусь. Сижу. Твержу. Упреков рой в себе рожу. Тебя я больше не лобзаю, себя корю и упрекаю. Ведь нужно мне уйти! Пора! Я брат! Я слабости сестра! Ужь два часа середины ночи... Я встал, встаю, и что есть мочи и, ни с кем не прощаясь, мчусь, остановиться я страшусь. Боюсь прикованным остаться к скале, к Огню, к Тебе — и сдать безсилью моему — Крещусь! И к двери быстро я несусь! За мной! Меня Ты провожаешь, бегу! Спешу! Опережаешь! Мы в корри-доре — темнота, меня находит Красота. Нашел! Нашла! Мы друг у друга... Жизнь наша — чар окружность круга. Во тьме я вижу свет в Тебе, как молнию в ночной Судьбе. И в корри-доре тьма, кромешность, но добродетельность, утеш-ность... Не зажигаем мы огня, нам тьма милее света дня. Схватил пальто, уже оделся... Миг в жизни сей запечат-лелся. О, Боже! Как легко прийти! Как трудно, стать на полпути! И тьма кругом нас окружает, обоих темнота вен-чает. И обнимаю я Тебя, и поцелуй звучит, скорбя. Дру-друга мы в уста целуем, и тьму, и тишь, и ночь волнуем. Прижал Тебя к своей груди. Уста... Блаженство тел взрости! И молодость пьет младо-младость души, рождает райность, сладость... Миг! Век! Дрожь молодой души! Песнь! Шум! Звук! Счастье! Глас в тиши! Я пью вино из уст заревых, Я пью кровь, сот из уст медовых... Я пью сердец томление, Я пью Богов Моление, и в темноте перед уходом... И в темноте перед вос-ходом. Бег времени из времени о выйди! Вон из племени ве-ков — жив миг! я пью всесчастье, ключ молодого Сладострастья! Я пью и я тебя пою! И жаждой вечной я горю! К устам, к груди, к щекам, к святыне... Я пью, как странник пьет в пустыне,

что на смерть жаждою томим, припавши вдруг к водам своим, что взору родником явились, а раньше долго-долго свились... Я пью, как пьет блуждающий в пустыне мысли, чающий родник студеных вод спасенья и истины без раз-сужденья. Я пью, как пьет ребенок из груди родных... Я пью, как низ земли, цветы, благословенье пьют дождика, рос орошенья, когда палит, пытается зной, коварный, беспо-щадный, злой... Нет! Да! так в первый раз целуют: миры, Боги не существуют. В пространстве место замерло, и время и вечности ушло... И кроме нас не существует Бытья... Уста уста целуют. Живет лобзания мечта и напряженность, красота, и в них горит младая сила, могущество и пыл све-тила Души и Пола, и Небес молодых, творящих жизнь чу-дес, что нам и сердце сотворило и дажь себя — души све-тило. И существуют, бдят уста, и поцелуев высота. Еди-ность — губки все четыре, как два один есть в полосыре, В душ вечной математике, динамике и статике Тоски... Шаги раздались четко, „Отец идет“ — чертилось кротко В эфире... Я упал с небес лобзания святых кудес и с Таин-ства высот блаженства и счастья высшего священства. Кля-нусь я Богом красоты, что будущей высь высоты и прош-лое и душ Безсмертье отдам за поцелуй — поверьте! — Один твоих уст в темноте, что утопает в чар мечте, за поце-луй перед уходом, под счастья пола небосводом! Я вышел. Зимне-хладная ночь дышет, тишь отрадная... Но ночи мне так жалко стало, ее ведь солнце не лобзало. И потому она одна, грустна и холодна, мрачна. Послышались шаги... чу-жие, что поцелуй молодые Твои зло оборвали вдруг? Твой удалился Солнце-друг? Ужели любят по законам? Ужели поют по хладным тонам? И солнце ли подвержено законам? Ли отвержено? Так страстно ведь оно любило! И кто стра-стней небес светила?! Ужели? Проклят сей закон! Пусть заглушит его вздох, стон! И я закона убоялся, когда влю-бился и влюблялся. И по закону ли люблю! Я по закону ли молю Тебя? От этого сознанья мне больно до душ сод-роганья. Но этого не может быть! Люблю свободно вольно

жить! Люблю я без лихих законов, свободно, словно буря стонов, как вихрь Безумия степной, как новизною фон больной, как бреда дикость, вольность речи, и как капризность свалки, сечи. А может солнышко любить и по закону жизнь развить, так огненно и пылко-страстно, законно, все таки прекрасно?! И Да и Нет! Я не могу, я вне закона берегу свою любовь! Не то ль светило — ему и законенье тоже мило?! Светилом летним я не был, мне чужд законный, летний пыл! Я с мыслью не могу мириться, что по закону мне влюбиться! Законам ли то подлежит, что Сердцу сердцем ворожит. И я законам ли подвержен! Законов я рычаг и стержень. Я „суверен“ и Божество, закон ли писан про него? О, солнце, что не понимаю тебя никак — я постигаю. Мы понимаем лишь раба! Светило, Ты нам, как судьба, темно. Тебя не понимаем и толкувальем искажаем. На слабословья берегу стою, и словом не могу достичь Тебя, то слово низко и слишком к тиши сердца близко... Чтобы достичь твоих высот, чтобы понять в выси красот светила райско поведенье, тепло и светоизлученье. Умеешь, солнце дня, Любить! Умеешь в свете светло бдить! И землю любишь и ласкаешь, ее целуешь, обнимаешь. — И лето появляется, творенье повторяется. И колос златом, хлебом спеет и яблоко на древе зреет и голубеют небеса — живут влюбленья чудеса. Оно весну всем, нам рождает, влюбленность в плод спел обращает. Когда же Девица краса, что девственна, как лун Роса начнет рождать нам жизнь крас весен ото влюбленности Чар песен?! Ты изменяешь ей — Она мертва, зима есть холод сна, с своей любовью умирает, Тебе земля не подражает. Земля живет в любви одной, будило Ты ее весной любовью и поцелуем измена — смерти сон ль минуем?! И изменяет ль солнце ей по истеченьи лета дней? Любовь Солнце светит, греет, и изменить оно ль умеет? Измена — солнце ль единить?! Ведь солнце — цвет, измена — тмить! Кто изменил, тот не светило светито любит, как любило. Не понимаю я Тебя, светило землю Ты любя, на чистом небе остаешься в любви ты солнцем выдаешься. Мое

непонимание Тебя, неразгадание есть пониманья выси форма, не про Тебя закон и норма. Я солнцем, Солнцем быть мечтал! Но солнцем дня мечтой не стал; хотя мечтать — родное дело, мечта так много ведь успела! Но солнцем дня мечтой одной великой даже молодой не станешь Ты! небес светило — мечта ль? Его воз, Действо, сила. Я обезумел — трепещу! В себе я солнце дня ишу! Светилом дня не стал — боюсь! Преследуют меня — я злюся! Луна... Луной я не хочу быть! Я препервому лучу молюсь, противно подражанье, подделка, текстов толкованье. Быть лучше ночью темною, чем быть луною скромною. Служить даже пьяному Я Ною готов, чем быть светил слугою... Мне быть безумным сапогом — не молнии глас-отзвук, гром! Я не луна! Боюсь напрасно! Безумья солнышко я красно! Но все же сомневаюсь, сомненьем одеваюсь. Страшусь, боюсь: раз сомневаюсь и с телью темной упиваюсь, то ужь не солнце красно я! не сомневается царь дня! Но нет! Светило я сомненья! Я солнце света дня мышленья! „Авось“ я солнце, „может быть“, я солнце — светло мне уплыть. Я — свет, я — день; лучусь, целуюсь... Сегодня я, не обинуясь, у сторожа спросил: кто я? Луна ночей иль солнце дня? Луч творчества оригинальный, иль подражанья лик печальный? Он ничего не отвечал и, слушая меня, молчал, и головой седой качая, ушел, свой шаг, ход уважая. Вопрос ли он решить не мог без сердца и души тревог? Иль может ранен он сомненьем, отравлен на смерть размышленьем? Иль может быть Молчание ему дарило звание молчальника и посветило в уст тиши Рыцаря светила?! Знай, Рыцарь я Печального молчания, Опального безмолвья тиши ласк Сверхсловья, деяния я Богословье! И солнце ли, Луну ли, тьму я представляю? — Плеть уму! Анкету посвящу вопросу, и всем, всему я вызов брошу. Если миллионы голосов с словами ясно и без слов, что я Луна — мне скажут, и исторически докажут, а голос молодой один раздастся, выше их долин, глася, что Солнце я дневное, светило ново-молодое — то, может, Солнце я и есть — и большинству моя тут месть. Но если голосов мил-

лионы, и все науки лжезаконы докажут, скажут все они, что я лишь лик Луны в тени и к лунности меня присудят; за то, что солнце я — не будет ни одного и голоса — тонка Мысль, как нить волоса, — тогда Я — солнце молодое, и большинству на-зло презлое. Один Я и Я Божество, и меньшинства я Большинство. Противоречья единяю, один с одной все, объясняю. Легко сказать: светило я, но трудно быть отцом огня дня... Солнце любит, светит, греет, любить, светить и греть умеет. Легко и греть, легко светить. Но землю целовать, любить и в небесах притом остаться, земным влеченьям не предаться, — Светило солнечно любить так может. Солнцу — солнцем бдить! К тому луну еще имеет, последованьем светлым зреет... Хоть Солнце — не имею я Луны... Лучей одна струя и одинокая стремится, одно Умчание ей снится. Моя, моя Ты не луна, ведь я Один и Ты одна. Я солнце и Ты солнце тоже, не тоже. Ты меня моложе. Я шел домой, шел торопясь, внутри я слышу томный глас. Я взором звезды наблюдаю, меня не поминают, знаю. Будь Солнцем Я — звезда меня боялась бы, как тьма — огня. Про солнечность мою не знает звезда, иль может понимает, что устареела ужь Боязнь, светил страх — ль средство, грубо-казнь, кто любит тот ведь не боится, любви страх должен подчиниться. Хоть сила страх великая, не не культурно-дикая. Любовь боязни ведь сильнее и действует смелей, вернее. Боязни тише чар Покров, как тишь Безмолвья выше слов, любовь боязни не боится, без страха к цели все стремится... Своих последствий не страшась... Любовь царица духа крас. Любовь есть — что она есть, будет, и пусть ее глупец осудит. Я к дому подошел. Стучу. Тотчас открыли мне. Учю: когда стучат, то открывают, но правила не соблюдают все ближние дома кругом, а только собственный твой дом. И ти, стучись в чужие двери иль в дом чужой, где люди, звери, стучи хоть до утра зари, звени, и я плачу пари, если они перед Тобою откроются ночной порою. И я вошел. Одежду снял. Я лег. Закрыв глаза и внял. Тебя я вижу: Ты раздета. Ты теплой тишиной воспета... В Твоей

постели Ты сидишь. Глаза закрыла. Ночи тишь. Ты одеялом белоснежным прикрыта чистым, нежным. Ты чистота в ласк чистоте. Ты Красота в грез Красоте лежишь с закрытыми глазами и носишься мечты мечтами. Лежу, мечтаю, грежу — бес! Кругом меня растет снов лес. Лежишь Ты там, лежишь мечтаешь, кругом Себя лес напеваешь... Стремятся к другу-друг леса, из слов отдельных небеса слились, небесами стали, и из отдельных точек дали образовались. Мечту берем мою и Красоту, мечту Твою, соединяем; мечту мечтой мы соблазняем. Сплетаем Душ, Сердец Цветы, сливаем наши все Мечты. И кто же нас раз'единяет, когда Великий пол пленяет. Пространство ли ничтожное, иль Время невозможное? Не время, нам лет чай — Пространство? Одна протяжность, самозванство. Мечты все наши сбились, как в чуде свились уста; и наши груди слились, сердца привольностью забились. Слили две мечты в одну мечту, как звезды ласк в луну и в сердце молодом влюбленном, и в сердце в сердце углубленном... И я закрыл глаза и Ты со мною... в сердце... Дочь мечты, тебя руками я вокруг стана обвил... и счастлив я, Осанна! Гибка дум талия Твоя, гибчей, когда зову: моя. Тонка и грациозно-стройна, Твоей фигуры лишь достойна. Мечты радушно расцвели и зреют яблони вдали, высоки, горды и ветвисты, залиты светом и тенисты... И мы сидим, в тени лежим, у изголовья цвел Режим... И тонет все в благоуханьях и в ароматах и мечтаньях, в зеленой, свежей мураве и пташечка в ласк синеве поет, нас песней усыпляет, и тишь волною трель качает. Так мать красы — дочь красоты качает в люлечке мечты, гармонию обвивая и песню рая напевая... И я заснул, и как река, что убаюкали берега ее, лесами окаймлены и в ней самой переломлены. И я заснул. Если смерть есть Сон, иль сна тон или полутон, иль снов и грез одна восьмая, то я готов, не разсуждая всю жизнь Бытья мою отдать за сна мгновенья благодать. Я спал с Тобой, мечты все сбывлись в слиянии и совершились. Но лишь мечты в крас высоте, блаженство высшее в мечте. Боюсь, они мне не поверят, меня своим аршином мерят. О,

знайте все! Есть чистота и сердца Младокрасота, что с высоты горы чувств льется ручьем... Вином души зовется, чиста, как детская хрусталь и ароматна, как печаль в лучах зари, в миг, в час вечерний, красна, как роза зорь среди терний... Стремится древо к высоте, к небесной высшей красоте всю жизнь, небес не достигая, растет, себя все возвышая... В том тайна роста... зри, трава, влечет его высь, синева... И вечно алчет и стремится главою высится, гордится. Любить, желать и чаять жить, а больше не должно и быть! Как вечности нет далее, дольше, так и любви нет болей, больше... Она в ласк море Чувства — кит.. Любви богиня говорит: твоя единственность, Рабыня я, в храме младости святыня... И чтобы не было других перед моим лицом... Сей стих начертан на скрижалях и в вековых Сверхчувства далях... А страсти и Любви нельзя служить за-раз! Любви стезя ведет нас в храм дня Рассветанья, а страсть в храмину потуханья... Кто служит Страсти — пусть берет себе жену, иль жен ста гнет. Кто служит же любви — пусть любит, пусть Деву, женщину голубит, которой восемнадцать лет! Любите! Мой в любви завет! Не говорите, что сей мотив природы Человека против! Я „противов“ ведь не боюсь, мое „за“ против, — против быюсь! Любить кто хочет, тот пусть любит, и дерева любви не срубит тупейшим топором страстей в сна темноте слепых ночей... Любовь создание природы: к земле стремятся небосводы, и море мчится ночь и день, лелея дали Грезы сень, и вечно к дали той струится, с которою ему не слиться. В одном течении есть цель любви; и плод, и цвет, и трель любви и счастье, и блаженство — есть вечное недостиженство... Есть плод Любви — одна Любовь, есть цвет Любви — снов грезы кровь. Любите! Вечно лишь влюбляйтесь! Любви зарею озаряйтесь! Возлюбленную ко груди прижмите в жизненном пути, в груди ведь сердце сердцу бьется, влюбленность вечная поется. В сем тайна вечная Любви, ты страсть Любовью не зови! Мне рай Любви в Любви пленяйте, от страсти ада отделяйте! Заснули оба мы вдвоем. Мы оба спим, во сне цве-

тём. И слышно сна грудей дыханье и тиши ангелов порханье. Вдруг, слышишь, в дверь, в окно стучат, звонят, и говорят, кричат; о, так стучится в дверь чужую насилие в ночь роковую. Глаза закрыты. Я лежу. В лесах мечты густых брожу. Мечты мои, как Ты, красивы, и, как Сон чуткий, боязливы.. Расстаться не хочу с Тобой, расстаться не хочу с мечтой. Мне так привольно и приятно, твоя улыбочка понятна. И с шумом, с гамом в дом вошли. И слышу звон, гул шпор в дали. Тяжелые шаги ступают. Они где обитаю знают. Я вижу матери Лицо. Оно стоит в двери. Крыльцо меч, штык, винтовка окружает. Мать на вопросы отвечает. Вошли и гонят красоту, и испугнули Тебя, мечту. Вспорхнула Ты и улетела, лица коварных ты не зрела. Я видел „их“... Я „их“ узнал. Пришли искать... Я отгадал. Мне больно: Слово я святое пронзаю в сердце молодое. Из ран его сочится кровь... Прощения молю, Любовь, у слова дивного Исканье... Боишься ль злого толкованья? На месте хладно я застыл, и сердца глас молчал, уплыл. Оно биенья не решилось дарить им, жизни как б лишилось... „Ищите“! — Встать! — ответом был. И я глаза свои открыл, и ухо обожглось хладом, огнем холодным, жгучим адом. О, север жгучий, жесткий хлад! Тебя нагреть я был бы рад. Да неужели не нагреем? Небось, нагреть Тебя сумеем. „Эй, одеваться“! — И я встал, и одеваться быстро стал. Вначале было повеленье, в конце лишь будет убежденье. Насилие в насилии, безсилие в безсилии. Они закон злой претворенный, в злом человеке преломленный... Искали долго и нашли, зачем сюда они пришли... Нашли стихи, что чернозвонны, одной тобою благовонны... Как Поцелуй в тиши ночной, залитый мигом и луной. Нашли среди бумаг бумагу, к Огню она имела тягу. На языке живом родном вещала пламенем, как гром. И Слово светло в ней горело, горело, жгло и пламенело. Их лица улыбались, успехом увенчались... Мне бело подали бумагу, что любит саблю, шпагу. Бела бумага — и так зла. Бумага — пепел и зола. Она Огни собою тушит и пламень неплом душил. Свое я имя подписал — и маму я поцеловал,

отцеловал ей горькость, слезы... И на устах цвели гроз розы...
Поила их слезы роса и сердце — бури небеса... Но не от
страха и боязни, то чувство низко, ниже казни... Оно рва-
лось, к Тебе рвалось, к Тебе, как вихорь унеслось, и над
Тобой Мечтой крылило, и тихо билось, — тихо зрило. Тебя
боялась разбудить... Умеет сердце говорить напевно, мило,
грезно, лирно. — „о, спи, сна дочь, покойно, мирно!“ — Стою.
Мгновение одно. Смотрю, гляжу через окно. И шутку на-
вострив, я с ними пошел, я шел, — все же водимый. Сегодня
всем я показал язык... показывать устал. Я всем сказал: „Я
арестован, язык свободе ведь дарован“.

арест.



Х-я ПЕСНЬ.

У „них“...

Спиноза. Он недолго жил. Он умер и опять всплыл.
Они из мертвых воскресили Его и Жизнь, Бытье дарили.
И он живет: — не для меня и существует, — день дразня,
для них он жил, живет он снова, для Них живет его Мысль,
Слово. Но я хочу его изжить, не мертвым между нами быть.
Давно мертва его Причина и Этика — труп, мертвечина.
Его ж Политика должна скончаться, умереть она уже давно
свой век отбыла, и дажь, как зло, она отжила. И есль его
я не убью, то Я убьет его, я зрю. Он беден был, он нищий
духом, ни зрением владел, ни слухом. О, если-б больше
шлифовал и меньше, меньше-бы писал. Причины ярый он
поклонник, и Государств больной сторонник. Анафеме мы
предадим его, во тьме похороним. Пусть Я предаст его Хе-
риму, он изменил Иерусалиму. Он бедствовал и голодал —
о если бы он не писал! И что дажь мыслил — утверждают.
Они его ведь понимают... Причина... и... и... Мысль. Смешно!
Противоречие одно. Пойми! Мысль быть должна свободна,
как выхорь звезд, и самородна. Причина, Мысль и Истина —
противоречья глушь, Стена. Есль существует, есть При-
чина, то Истины нет и почина. Ведь Истина есть абсолют,
причина — наглый, хитрый плут. Иль Истины, или При-
чины — нет середины и кручины. Сегодня доктор молодой
был у меня, а я душой был зол, я злобился, сердился...
В причинах безпричинно вился. Со злости ярой стул схва-
тил, ему я в голову пустил. Он убежал, он растерялся, а я
от всей души смеялся. Я мертвого убить хотел, себе за-
нятье изобрел я славное, и благородно: я убиваю всена-

отцеловал ей горькость, слезы... И на устах цвели гроз розы...
Поила их слезы роса и сердце — бури небеса... Но не от
страха и боязни, то чувство низко, ниже казни... Оно рва-
лось, к Тебе рвалось, к Тебе, как вихорь унеслось, и над
Тобой Мечтой крылило, и тихо билось, — тихо зрило. Тебя
боялась разбудить... Умеет сердце говорить напевно, мило,
грезно, лирно — «о, спи, сна дочь, покойно, мирно!» — Стою.
Мгновение одно. Смотрю, гляжу через окно. И шутку на-
вострив, я с ними пошел, я шел, — все же водимый. Сегодня
всем я показал язык... показывать устал. Я всем сказал: «я
арестован, язык свободе ведь дарован».

арест.



Х-я ПЕСНЬ.

У „них“...

Спиноза. Он недолго жил. Он умер и опять всплыл.
Они из мертвых воскресили Его и Жизнь, Бытье дарили.
И он живет: — не для меня и существует, — день дразня,
для них он жил, живет он снова, для Них живет его Мысль,
Слово. Но я хочу его изжить, не мертвым между нами быть.
Давно мертва его Причина и Этика — труп, мертвечина.
Его ж Политика должна скончаться, умереть она уже давно
свой век отбыла, и дажь, как зло, она отжила. И есль его
я не убью, то Я убьет его, я зрю. Он беден был, он нищий
духом, ни зрением владел, ни слухом. О, если-б больше
шлифовал и меньше, меньше-бы писал. Причины ярый он
поклонник, и Государств больной сторонник. Анафеме мы
предадим его, во тьме похороним. Пусть Я предаст его Хе-
риму, он изменил Иерусалиму. Он бедствовал и голодал —
о если бы он не писал! И что дажь мыслил — утверждают.
Они его ведь понимают... Причина... и... и... Мысль. Смешно!
Противоречие одно. Пойми! Мысль быть должна свободна,
как выхорь звезд, и самородна. Причина, Мысль и Истина —
противоречья глушь, Стена. Есль существует, есль При-
чина, то Истины нет и почина. Ведь Истина есль абсолют,
причина — наглый, хитрый плут. Иль Истины, или При-
чины — нет середины и кручины. Сегодня доктор молодой
был у меня, а я душой был зол, я злобился, сердился...
В причинах безпричинно вился. Со злости ярой стул схва-
тил, ему я в голову пустил. Он убежал, он растерялся, а я
от всей души смеялся. Я мертвого убить хотел, себе за-
нятье изобрел я славное, и благородно: я убиваю всена-

родно. И убиваю гения, кладу прах в гроб забвения. Убийца
есмь и погребальщик... Я есмь все, но не их плакальщик.
И мне ль возиться с трупами, охотиться за группами! Я
жрец — и храм мое жилище, и показаться на кладбище, мне
строго воспрещается, жрецу не разрешается. Священно
учит так писанье. — Нечистота — смерть, умиранье... Вот
истина, дочь дум грядет, и в библии со сна встает... Пок-
лон шлю старому завету, там истин жизни больше нету.
Я слышу Гейне небеса, и льется слез лучей роса: ее он
беззаветно любит, она, краса, его погубит. Ужасно. И кто
пил сей яд он смерти черной зрит наряд. Его не пил я,
пить не буду, если тебя я не забуду. И я любил люблю Тебя,
и любишь Ты, меня любя. Если бы меня Ты не любила, Я б
не любил. Любовь есть сила, но я так горд. И не могу лю-
бить, когда на берегу стою один. Тебя целую, когда Тебя
себя рифмую. И истый Гейне ли певец, и истый Гейне ли
гордец! На лире сердца он играет, но не поет, а понимает.
Смеется, плачет, не поет, лишь в понимании полет его, и
он затевает вопросы, их высмеивает. Он злой и хитрый,
мудрый смех, он мудрый змей и кроткий грех. Я мудро-
умных презираю, их слишком хорошо — я знаю. К чему лу-
кавить, умничать, к чему кричать, как шум, мычать. Полу-
чится самим собою игра, что искрится луною. Я не играю,
я пою. Я верно верю в песнь мою. Я истину божественную
пою, пью песнь рождественную. Пою в лесу я птахою, пою
Науки Пряхою. На зиму в теплоту улетаю, в края, гнездо
себе свиваю. Я в рощах летних лучевых. И льется песнь
огней родных. Там где царит волшебное лето, там песнь
Моя родная спета. На ветке хрупкой я стою и гнется ветка,
я пою: и с ветки к ветке прелетаю и песнь пою и распе-
ваю... А Гете средь ветвей крылил зимой, весной гнездо
там вил. Где теплый край, стран упований? И где его
ряд кочеваний? Не жил, не пел он птицей, — нет. Хоть пел
он младо-кроткий свет. Ведь певчие все перелетны, ведь
божьи пташки беззаботны. Ведь Пеня Пташечка встает
зарю и зарю поет. Когда светило в колыбели, ее зарю

дышат трели. А Гете светлый полдень пел, восхода жизни
он не зрел. Восхода сердца человека, рассвета общества и
и века. Один Байрон — вот молодец! Был свиду и душой
певец. Но жен любил он слишком страстно и чересчур уж
громогласно... Любил, как Демон, не как Бог, любил, но
он любить не мог. Жена Обычем сковывает, любовь ра-
зочаровывает. И слишком духом слаб он был, чтоб Жен-
щиной младой он слыл. Кто, как Байрон, дев, женщин
любит, красу, любовь сердец, загубит... Он рвал цветы,
их рвать нельзя, знай, к ним священная стезя ведет, вверх
крас вас подымая и нежностью ласк украшая. Он рвал
цветы. Нельзя их рвать. Вкушать, вдыхать, их запах
знать. На их любуйся диво-краски, блаженствуй от вол-
шебной ласки. И только... а их, ты, не рви. Не выходи
из врат любви. Они мне скажут: „ведь завянут“... — Прес-
таньте рвать — цветы воспрянут! — скажу им я, в прямой
ответ — и вечно будет цвести нам цвет. Цветы все вянут
от боязни... В болоте страха не завязни! Не рвите! Жен-
щина — цветок, любовь — ее зари восток, что занимается. —
Не рвите цветов, если вы любить хотите. И это ли пишу
я им, они для глаз, что дыма Рим. Пишу я Вам, Вас со-
жалею, несу Вам новую Идею. Как смерть я ненавижу их,
не им звучит души мой стих, а Вам, достойны сожаленья
и кроткого ученья-пенья. Родиться может Я из Вас. И стоит
миллион за раз убить покойников, лишь чтобы явилось нам
Я из утробы Людской... О, дева синева! Тебе сии мои слова
вполне разумны, незакатны, и как безумье ароматны. А
может, сами и умрут — в край смерти ведь они все прут... Их
мертвая смерть вне сомненья и вне вопроса, вне ученья.
Я думаю: мне дай совет, убить Зла доктора иль нет, и сам
ведь он умрет так скоро, от собственного духомора. Не
стоит, кажется, изжить его, и без того не быть ему, он на
смерть обреченный. И с мертвостью он обрученный. Он
мертв. И жизнью мается, и в небытье раскается. Он трус,
все мертвые суть трусы, боятся жизни, как индусы суще-
ствования бытия, и как Они боятся Я. Они боятся даже

среди ночи, когда петух поет, что мочи. И повели меня. Я шел, казался весел, хоть был зол, и скучен, мрачен... улыбался, и настроеньем обладался... И всю дорогу я шутил, и шутку ядом напоил, острить, шутить я не умею, и я об этом сожалею... Великая мощь, шутка есть, сильна всерьез, безсилью мечь... Моя натура гзрмонична, гармония непедантична... Если не умею я шутить, так это от того: палить не стану из тяжелой пушки, чтобы головушку сбить с мушки... И повели меня они, а ночь светилась в тени. Красиво звезды мне мигают, луна полна и тучки тают. Их небо ясно, высоко, им горе сердца далеко. Вдруг, глядь, звезда одна упала, рассыпалась, заснула... Спала. Приятно тухнуть и упасть прямехонько в струн ночи пасть. Желал б я ночью звездою быть и плескаться синевою... хоть ночь одну звездою быть и зреть луну, как мать, и плыть, и сеять свет среди тьмы лучами — затем же тухнуть мглы веками... Проходим улицу одну мы за другой. И тишину сна ночи шаг их нарушает, тяжел шаг, отзвук провожает. Вот зорко стерегут меня... Уберегут ли ото дня? — Боясь, чтобы не отбили. Кто отобьет, и где кадрили? Не Ты ли? Ты бы кинулась на шею мне, и двинулась со сна, огнем б расцеловала, но Ты тогда в мечте поржала. И видела волшебный сон, что с Явью нашей совмещен. Мы утром на заре гуляем и рассветаньем щеголяем. Зовут туда нас голоса, идем, тропинки полоса, все выше, водит, удлиняясь, то узясь, а то расширяясь... Ты впереди, я за тобой „иди за львом, не за женой“. Сказал мудрец предревний, глупый, чьи сохранились и скорлупы мыслей... „Иди ты за женой, за Богом и за Сатаной — я говорю. И мысль забава... Мне Истина, ему лишь слава. Иди, но помни, за женой. Идем. Тропиночка дугой уходит, глядь, она крутая, как б трудность множа и слагая... И камешки из под твоих ног падают... Как в вечность миг, стремятся вниз, скользят, роняясь, и в бездну страсти устремляясь... И в гору, гору Ты идешь, и за Тобой, влечешь; зовешь: любовь в Горах... Там... Обитают, там страсть ее не достигает... За ними я иду, ведут а путь

так плосок и так крут, и претяжел и наитруден, и отвратителен и нуден... Меня приклад поцеловал. Не правильно я слово брал. Лобзать и целовать приклады умеют ли? Кусать лишь рады... И доктору — не удеру! — Я в палец укусил — не вру. Укус — есть укус, яд искуса. А поцелуй — вино даже труса храбрит, бодрит и веселит. На звезды злобен я, сердит и на луну, что освещает приклады и мечи ласкает. Вот сабля обнаженная, — в насилии сожженная, — и сабля в мигах звезд купаясь, блестит, сребрится, преливаясь камнями... Вот падает их тень. Где тень, свет радует. Луны лик, миг звезды им светит, и их фигуру тенью метит. Луне, звездам все им равно. — Пусть лучше будет уж темно. Сияния мы не желаем, которым злой шаг освещаем. Пусть божьи будут небеса. На кой черт нам ходьбы краса. Ходил весь день на четвереньках, я ползал как дитя в пеленках... Да, дети и животные ползут безповоротные и две ноги я ненавижу, и два устоя неприближу. И государство и Семья, все это против слова Я, наука-зло и Муравейник, пес — человек, закон — ошейник. И в муравейнике жить-вить я не могу. К чему дразнить! Хочу быть богом, сатаной — но не двуногой кочергою. О, эти мне двуногие! И их законы строгие. Уж слишком вы мне надоели. Песнь вашу вы давно уж спели... Не буду в муравейнике, мне лучше цвесть в репейнике. В лесу я буду лучше волком, чем вашим жить законом, толком... И лучше тигром жить в грозах, чем в ваших славных парусах, и лучше среди зверей в пустыне, чем в вашей каменной твердыне. Меня ввели. Мрак. Полутьма. Открылась дверь. За мной сама закрылась. И мне не страшно. Дверей пугаются напрасно. На петлях вертится ведь дверь, откроется сама, поверь, сюда туда — противны двери. Двуногие, две петли, звери. Мрак, тьма. Не вижу ничего. Ловлю храпение всего. Глаза со тьмою уж сроднились... Предметы мраком осветились... Я вижу низкий потолок. Он грязен — осенью поток. Меня пол не интересуется, на пол ленивый негодует. Что там в углу горит, коптит? Дымится лампочка, что злит

мглу, тьму, дразнит престащья тени, что спали бы во тьме забвений... Родною тьмой сливаясь, и тенью одеваясь. Теперь жь творится тьма в тьмы царстве и мрак во мрака государстве... Кругом зрю нары длинные, и напрямик безвинные идут углом переломляясь, длиной со всей стеной сравниваясь. Противны линии прямы мне, их родила сила тьмы, и мне противно все прямое, люблю ломание кривое. Чем двиг. ться я по прямой вперед, ужь лучше по кривой вертеться выберу на месте, — брожение в духовном тесте. И есль прогресс кривая есть — ему покою я славу, честь. Но есль он линия прямая, — я проклиная, умирая, его. Но знаю, он есть круг, и вечно он мой сердца друг. И на прощании целую, стихи цветов ему дарую.. Уходит он, я вижю, вдаль, куда идет моя тоска, печаль. Идет зигзагами и криво и все вперед змеится — диво. Знай, бочку я поцеловал, — сегодня страж меня застал при целовании. — Стояла с водою на дворе и спала. Поцеловал. Она же круг. О поцелуе полон слух весь двор. Меня тем обижают, они никак не понимают... Она же круглая и круг, как стол, как мир и мысль дуг, которая всегда в вертенье и в безпрестанном передвиженье... И искрится, как солнца пыль, поэтому чту плясов быть... Блаженны танцы, славны пляски, они круженья диво-скаска. И я люблю водоворот, круговорот и хоровод. Окружность что изображает блаженство сердца выражает. Я ветренную мельницу люблю, как мысль бездельницу. Она крылами дивно машет, в окружность круга вечно пляшет. Люблю я бурю и грозу, окружность в них там, на возу... На нарах спали и лежали, храпели, воздух колебали... Забился в угол. Грустно мне, мечтою унести... Во сне. Я не могу, не позволяю, несчастных здесь не оставляю. А привести Тебя сюда. Лишь в синеве горит звезда. Здесь грязь — и нары, Боже, грязны, дверь и замок так сильны, связны... И даже воздух грязен здесь, пропитан затхлостью он весь. Он густ, насилиу я тут дышу, он густ, его я зрю и слышу... Оставил в небесах Тебя, там у звезды, звездой скорбя, свет тонкий, ароматный, милый

и в нем таятся грезность, силы; и скучно, грустно, больно мне в храпении и в тишине. Я стал присматриваться к спящим, и к этим тяжело храпящим. Я между ними различал и бодрствующищих искал. Всегда кто ищет, тот находит, иль сам мечтой из Нет все родит... И не напрасно я искал: знакомого я здесь узнал... Глаза его так нежно светят кругом, в Тебя сверхлаской метят... Такие мягкие черты, как бы ваял их перст мечты. А волосы белокуры, длинные да хоть и вьются, но безвинны... О, милый, он меня узнал, и глаз огнем чар заблестал. Который раз меня он встретил и ночью при огне приметил. Его я знаю, он Точил... По весям, грамоте учил, он обучал читать по складам.. По старым методам и ладам. Он обучал по букварям и при лучинке по зарям. Ученики его успели и грамоте уразумели. Но дальше грамоты не шли, хоть дальше, глубже их звали. Он грамотеем первым с краю до края слыл... я Азбуки не знаю... Я азбук, грамот не люблю, я ширь и даль ночей хвалю. Но у него глаза свет пили... Приветливы, красивы стили... И я любил и уважал его... Меня он почитал. Хоть поведенье было ложно его... Я верую, что можно огнем создать и свет и день, и гнать прочь ночь, прогнать и тень, из огненного океана выходит утренность, Осанна... Родится солнце дня огнем и молния, и страшный гром. Огонь — не кровь. Огонь и пламя есть творчества родное знамя. Огнем творец играет, светило дня рождается не в граде — в поле, на просторе, и в пламени, купаясь в море... Мы часто гневно спорили, и много оба вздорили. Но были все же мы друзьями, хоть шли мы разными стезями... Я ненавижу храмоту молодой души и грамоту. Люблю безграмотность вседуха и нежность, чуткость тонкость слуха... Но я любил и уважал его, меня он почитал. Его премягко вился волос, его прекрадчив был и голос: — И Ты здесь! Говорилч, что... — Да я! И вот мое пальто. И сердце трепетно забилось, все прошлое ему приснилось... Есть одиночеству удел: знакомых приобрести успел. Он их позвал, они играли на нарах в карты, и не спали... И поздорова-

лись со мной, рука пожалася рукой. И для меня достали чаю... нет ада среди своих без раю... Я пью один лишь кипяток, так как дает его поток. Воду с огнем в одно братаю, и чаем я то называю... Пречистый кипяток я пью, прикрас воды я не люблю. Душа, когда она тениста мне ароматна и цветиста. Живой воды с огнем я пью, вином огня других пою, есть красное вино спасенья и нового сердец Мышленья. Я воду пил, все пили чай, и карты бросили в сарай забвенья. В карты не играю, я Бога гневать не желаю. Случайность, сила Случая — мне будущность певучая, зачем дразнить и гневать Тайность, зачем открыть, раскрыть Случайность! Люблю я по звездам читать, но не играть и не гадать. И если играть, — то лишь в науку, забавной Истиной гнать скуку. Разумно-светлая Игра. Вещь именем назвать пора. Мы в истину весь век играем, Мышленья своего не знаем... Чай выпил и Легли мы спать, я спать не мог. И ну мечтать! И грезы ткать, но колебался, ввести тебя я опасался. Гуляли крысы по полу... Хвосты длинелись... В углу стоял ушат у самой двери, Науки хитрой и Поверий... Дымился воздух вокруг него, зловонья злое Торжество... Гуляли крысы три, две пары, тихонько хлопещ вдруг слез с нары. Цап! В голенише вот поймал он крысу и торжествовал, он рад, он совершил, „умеет“, от радости вина светлеет. И он смеется. Дикий смех... Бушует в нем его успех. Ногою крысу убивает, на нару снова он влезает. Дверь распахнулась и ввели седого старика, нашли его во рву мертвецки пьяным, он был здесь гостем постоянным... Едва держался на ногах, городовые на рукак сюда насилиу приносили — и к печке теплой прислонили... Оставили и вышли вон, он грохнулся о пол, и звон раздался стеклом, окон; лежа у печки на полу, — о Боже, как он их проклинал, ругал, топтал ногами и кричал... Все спящие чуть не проснулись, на левый бок перевернулись и кто-то, что-то бормотал, проклятьям вслед послал свое проклятье. Волновался старик, за печку он держался и опустился вновь на пол, он не кричал хотя был зол еще, на корточки

уселся, заснул, спиной у печки грелся. Тут парень слез. И красться стал, и подошел, и привязал к нему Ту крысу — и казалось она в такт сну его качалась. Заснул с убитой крысой он и черной, дохлой крысой сон и Сновиденье украшалось — а крыса все еще качалась. Я думать о Тебе не мог, — на небесах живет мой Бог. Но вдруг мысль Божья осенила меня и ум мой просветила: „Лишь здесь о ней ты грезь, мечтай, виденья арфа, ей играй! Здесь храм наш и алтарь и жертвы, что жизненны, когда уж мертвы. Здесь Божий дом, врата небес и Райских ласк молитвы лес. Горлицы наши здесь воркуют и песнь Любви в Тиши даруют... Гнезятся наши здесь орлы, они клюют нам свет из мглы... Та участь одного минула, льва рык их не боялся гула“. Вот я привел Тебя сюда... В окно смотрела мне звезда, лучей надежды миги пряла, сама же в синеве ныряла... В звезде цветет, живет Борьба! Ты звездная моя Судьба. Ко мне пришла одной Мечтою, несомой Сердца грез волною. Прижался я к груди твоей, ловил я молнию очей Твоих. Прикрыл Тебя рукою и надушил Тебя тоскою... И зефир рая душ подул, и нарезвяся, я заснул: на крыльях он принес виденье и яви злой уничтоженье. На берегу реки сидим. День. Свет. Вода журчит. Глядим. И небо реченьку целует, и небо с небом сорифмует. И как моя душа в тоске, Царь дня купается в реке... Светило наго — и купаться легко, не нужно раздеваться ему. А нам раздеться лень, купаться неохота, — сень одежды нам всего дороже... В одежде и наш бог, о Боже. Струи пречистость, серебро лучится, как души добро. Рябь — серебро, сребра чешуи звенят, как лунность, поцелуи. И мы сидим и мы одни, нас осеняет Тень в тени. Свет духа льется в мире мрачном. Ты в легком платьице, прозрачном. Твои глаза, Твой взор слежу. Так близко я к Тебе сижу, что тела аромат вдыхаю красот цветка, что называю безвинным телом дев Жены, он краше крас души Весны. Твоя оголенная шея — величье мраморность, идея... По шее взором я скольжу, под платьицем путь провожу, и до груди я опускаюсь, и белизной

грудей я знаюсь. И поднимаюся одной, и опускаюся второй волной... И прячусь меж грудями, как дол меж смежными стезями; искусно скрылся, небеса! Меня ты ищешь — есть краса Величественная Исканье, очаровательно Незнание. Я притаился и лежу, оттуда взором я слежу...— Где Ты?— ты взором вопрошаешь, — Я здесь. О грудь, ты ли не знаешь?! И грудь волнения краса, как нивы злата полоса. Я выпорхнул, к Тебе явился, твой звонкий смех засеребрился. И Ты смеялась — смех был Твой звончей струи реки живой, луча луны родней, древнее и синевы небес яснее... Смеешься легче Красоты, умеешь улыбаться Ты. И в брызгах светлых разливаясь, ну да! Умеешь улыбаться! Искусство это кто нам дал? Кто смех у Бога похищал? Где гений? Первый кто смеялся? Ума лишиться не боялся? И назовите мне его, он будет мне, что Божество, колени Грусти преггибаю и Богом смеха нарекаю... Его я отведу в мой дом, — И что молчите все кругом? — И буду днем ему молиться голубушкой, что ночью снится, что под моим живет окном и в тайн Безмолвии ночном любовь всечистую воркует, и снам моим Фон, Стиль дарует, и одевает красотой души тоски молодой, святой... О, да, умеешь Ты смеяться, и Ты умеешь ухмыляться. Но что же лучше знаешь Ты? Да, оба лучше. Красоты наивной отповедь. Ребенок так отвечает, умно-тонок его безхитростный ответ в нем скрыты вместе Да и Нет и не войдете в Истин Царство, если не бросите коварство лукавой, хитрой мудрости наивной златокудрости, научной рыболовной сети — есль вы не будете как дети! Царь-град Наивности ведет в царь-град Безумия — грядет! Идет речь не о глупой мнимой наивности, боготворимой, как правду-истину-жену — а про наивность, Тишину, что хоть разумною считает себя, что лишь играет, знает, и все-таки творит, живет, и игры Истин нам дает. — И не умею улыбаться, пришлось так рано расставаться с тобою мне, что не умел я научиться. не успел. Они нас рано разлучили, смеяться оба мы забыли. Ты даже не улыбаешься, когда во мне рождаешься. Не плачешь, но и не смеешься, Ты со-

зерцанью отдаешься. Молчишь и смотришь на закат, на тучки и закрытые врат. Заход светила освещают, горят зарей — и потухают. Ты засмеялась, ловко я вспорхнул — и легче мотыля была Ты в платьице нездешнем и в легком, светлом, новом, вешнем. Широки были рукава, и каждый шириною в два... Да будь блаженна дикомода, и рукава такого рода. Вдруг легкий ветерок пахнул, и рукава, как мех, надул. Вошел в рукав твой весь я взором, стал обходить его дозором. Я вверх взобрался, полз, взлезал, убежище я отыскал, нашел под мышкой в младо-роще и на дворе был полдень тощий. Твоя улыбка разрослась... Вдруг поступь слышаться далась. В тиши... Отец твой шел купаться, я вылез вон, боясь нарваться... С тобой на травку рядом сел, я ловок был, как луч светлел. Сижусь и светло улыбаюсь, я тучкой взором увлекаюсь. Ведь научила Ты меня смеяться, словно светлость дня. Мне говорили, улыбаться умею, радости предаться. Я нежно улыбаюсь, в Дали в даль урождаюсь безвинно, женственно, игриво, порхающе и шаловливо. И это ль повторение. Нет, нет! Лишь отражение Твоей улыбки, грезы рая, — Твоя улыбка не земная. И слышится Твоя в моей, как эхо, глас, ручей. Ты улыбалась, бывало, веселие Твое сверкало. И молниєю поражен я млею, как луч, дух, звон. Кругом Тебя я грезой вился, росой души оборотился... И как роса в шей рамочке цветка, так я там в ямочке Твоей щеки расположился, и весь во грезу излучился. Так были милы ямочки, Цветка красот чар дамочки. По целым дням я оставался там, в прятки я с собой игрался. И в них мечтой я обитал. Когда умру, есль бы я знал: что в ямочку меня такую на вечность вечно-вековую схоронят. — Боже! — Я б сейчас, не мысля ни единый час, закрыл глаза, смежил бы вежды, одел саваны, как одежды, лишь бы лежать, спать в ямочке красот, нег, что грез мамочке Твоей своим происхождением обязана, и нежным геньем гармонии сотворена. Великая! Отворена! Улыбочкою обладаешь, и ад Ты в рай нам превращаешь.. И даже Руссо я не люблю. Его значение умаю. Не настоящий Сумасшедший,

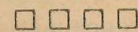
хотя порой безсвязно речи ведет... То лишь ломание, притворство, прикидание. Люблю Безумие лучисто, люблю что истинно душисто. Послышались шаги. То твой отец шел мимо стороной, он злобно, гневно улыбнулся, меня дразня.— И я проснулся. Смотрю. Повстали все давно. И день глядит через окно. Один сидит меня напротив на паразитов средь охоты... в лес бороды густой своей пошел он с помощью когтей. Да вот он снял свою рубаху... и паразит главу на плаху Несет с покорностью раба—его завидна ли судьба? Так беспощаден он, кровь льется... И след на ногтях остается. Чернеют волосы его, глаза сверкают — торжество, так жгучи, пылки, и ветвисты, и бровями, как лес, тенисты. Но вот проснулся и старик. Встает. И крыса на нем. Миг—и все смеются... Смеха волны бегут... Недоуменья полный старик вокруг озирается... Чему смеются? — Огрызается, смеются все и он смеется, ритмично крыса и трясется. Вниз головой висит она, лишь задними прикрепленна ногами... На ходу трясется шагу в такт хвостиком бьет, бьется... Гул, хохот, смех гремит, как шквал.— И Я за завтраком послал. Послали. Шли, нам все купили, нам чаю подали — мы пили. Я голоден был, пить хотел, недалеко от нас сидел цыган с красивым цыганенком, он обходился, как с ребенком, с ним. Знать, то был отец и сын... Младой. Цыган из всех мужчин был самый рослый и красивый, и власы бороды, как гривы степных, вороных лошадей... Но вилися, что мудрый змей, из под лохматой рваной шапки торчали целыя охапки курчавых локонов, волос, что отвечали на вопрос... Глаза его огнем пылали и жгли, и Тайну рассказали. Огонь тех глаз пречорен был, как дикой ревности зол пыл... Вблизи него его сыночек лет восемнадцати... Цветочек породы дикой красоты, естественной степей Мечты. Он весь в отца, еще чернее, и жизнерадостней, сильнее. Цыган безумно я люблю. Богиню их я чту, хвалю. Люблю кочевников. Кочуют они, как вихри мчатся, дуют. Безумье — кочевание есть новое сознание! Кочующие все счастливы! Как бури мыслей, чувств игривы... Свободны все кочевники, и новы однодневники! Отец и мать их — ветры,

бури и облака, след по лазури... Что вечно ходит, странствует, в походе не мещанствует... Кочевник вихрь без направленья и без сознания измеренья. Наивное мышление, держи же направление к Безумию ума! Кочуйте! И мысли у себя воруйте! Безумие дробит стекло, кует булат! Все наше зло оседлость мысли умножает у нас все стынет, застывает. Оседлость — общества грехов родная мать, она сынов родила: мысли консервацию и старую ассоциацию... Вид общества даю вам здесь: кобанья голова — льва спесь! — И сердце змия, хвост лягушки, нога слона и глас кукушки. Безумно я люблю цыган, высок и строен, горд их стан, их волосы предико вьются, над прямизной они смеются... Цыган и локоны люблю, курчавы словно мысль — ловлю!" Люблю чтоб все вертелось, вилось, дичилось, гнулось и кривилось, притом, они ведь не как все, и сим они в красоте красе... О, не как все! Величье, Слово, оно не старо, вечно ново, притом они ведь не как все, и сим они в выси красе, они, как ночь, грех, зло, рок черны, цветам всем нашим непокорны. И не как все они живут, по своему узоры гнут. Жизнь вольная их мне завидна, и за цыган мне так обидно! Безумно я люблю цыган, люблю их черный караван, но больше же люблю цыганку, на пола удочке приманку. Что выше совершенства тел? В душе я горько сожалел, что с нами не сидит цыганка... Ведь пред глазами уж осанка цыганки стройной, молодой... Щека — огнем, а грудь — волной. Тюрьму задумали устроить! А почему не удостоить ее цыганки — к нам туда! Ночь освещает миг, звезда, и пусть цыганка услаждает ночь заключенья, освящает! Цыганка будет нам гадать и будущность предвосхищать. Она так часто становится гадательницею; резвится, играясь жизнью нашей всей ночей и рядом светлых дней, она судьбой располагает и, словно мяч, ее бросает. Цыганы черны среди дня, цыган люблю безумно я, хоть б за то, что они в загоне, хоть темнота сидит на троне... Преследуют они же их... За что? Крадут, мол, малых сих... Но это выси добродетель, бог педагогики свидетель... Детей красть у родителей, идея всех Водителей... И это скоро

совершу я, детей от вас ведь отберу я. Цыганом, детокрадом стать хочу, ты берегись, Мать! По весям я цыганом рыщу, детей всех ваших я отыщу! Младое поколение, лучей младых прядение, я уведу в степь, в лес дремучий, где мчится ручеек певучий... И научу их кочевать, холить, бродить, душой искать, и врозь, в разброд, не таборами, блуждайте, ошибайтесь — сами! Блуждать по дебрям Красоты, по степям Чувства и Мечты и по глуши глубины шленья и новой Эры зарожденья... Цыган! Детей я украду, и в лес дремучий уведу. В детях зрю златоносность, руду! Коней я ваших красть не буду. Моя крылата Младость Дня! Цыган, не нужно мне коня! Я вашей не возьму коровы ни замужней.. И даже вдовы противны... Не возьму коров! Я ваших не возьму волов! Коровы ваши — суть же самки, волы не нужны мне для ляжки! Принадлежат коровы вам, есть собственность Жена, Мадам! На что они мне? Ваши дети, для них готовлю невод, сети.. Они все мне принадлежат, хот в наших люльках и лежат. Но дети — дети суть не ваши, и дочь — не дочь своей мамаша. Мы сели есть. Не мог я есть. Тошнило мне. Пытался сесть к охотнику я стороною — напрасно! Не мог хлеб с водою вкушагь.. Охотится — сидит, и чудятся леса, — не спит — ему, жесток в своей расправе он был, разбой тонул в злом праве.. И у него был вид такой сосредоточенный и злой... К нему спиною отвернулся — но пред глазами развернулся театр военный визави... Охотника я зрю в крови... Его ль могу прецать наряду, кому принадлежал он сроду... Он вором и разбойником был, крови рукомойником... Он промышлял... Нам красть не нужно.. Лишь взять и брать открыто, дружно... Я не краду, беру мое, красиво красть, и взять Свое. Принадлежит ведь этой краже прошествье, настоячесть, даже грядущее. Заметил тут цыган, что кушаем, минут пять он смотрел, стал приближаться и странно, хитро улыбаться... И я беседу с ним завел, о жизни городов и сел... Он завтрак мой с'ел на здоровье, и наступило рта сверхсловье... Он осмелел, повеселел; просил его, чтоб он мне спел цыганскую песнь, отказался он, странно, хитро улыбался. „Не

место здесь“ — он отвечал, и головой, скорбя, качал... Он прав! Цыганских песен в поле пой, напевай на вольной воле, на берегу живой реки, зовут, манят вдаль... огоньки... Или в лесу глухом, дремучем, иль по пути в возу скрипучем иль на лихом, верхом, коне в рос утренней чар тишине, — и горы, доли эхом отвечают и за тобой песнь провожают... В кругу цыганок молодых вложил он песнь в словах родных и лилась песня в лунность ночи, и от нее сверкали очи... Лучей ночных, дневных светил... „Чем занимаетесь“? — спросил его я. — „Лошадей меняю“! „Меняете“! — я повторяю. „За что попали вы сюда“? „За лошадь“! — злющая беда! Я так и знал, цыган меняет, Свое, Твое, честь не роняет. Цыган не вор, он не крадет. Он лишь свое берет, возьмет. Он время, место, Конь меняет и песни вольно сочиняет. Я вымазался сажей весь, и почернел, как темность, спесь; и сторож сразу догадался, над темнотою насмеялся. Цыганом черным быть хочу, и Детокрадству всех учу. И потому я должен Черным быть, закаленным и упорным.

у „них“...



XI-я ПЕСНЬ.

математика.

О, если-б люди Новь ввели, и столько бы изобрели за человека, в пользу Человека уж сколько сделано из века на зло ему,—то мир давно являл-б нам рая грёз окно, и явь была бы сновиденьем, и речь была бы песнопеньем. Тьма тьмы заржавленных замков, все против нас молодых воров... Вы лучше нам изобретайте приемы воровства! Ломайте замки по ново-новому! Задача и Суровому. Имеем видов заключенья и без числа и исчисленья... Темницы, арестанские, узилища испанские: семья и школа, Государство, Закон и большинства коварство... Все против воли, против нас самих, и против Я душ крас! Весь человеческий сверхгений работает он в направлении одном: как самому себе вредить... Он вечно весь в борьбе с самим собою, с выявленьем Я, с чувством вольным и с Мышленьем, и в путях темных наш порыв. Одно спасенье: взлет, взвив, взмыв — безумья! Ибо невменяем безумный и недогоняем. Согласен с Гегелем в том я, разумно блит бытие, томя. И потому я презираю, прикосновенья избегаю со грозным Сущесвующим, сквозным Разумьем дующим. О, верь глазам, бытие разумно, но что разумно — не безумно! И лишь безумное одно существовать и быть должно, существовать имеет право все то, что не нормально-здорово. Нам сочиненья написал безумец, Нам в них завещал он человечеству спасенье в любви и в Боге и в Прощенье... Прости, великий Сумасброд! Люби весь Человеков род сказать Им — ведь они не любят дажь женщин, а лишь страстью губят! Друг друга могут-ли любить, когда дажь женщину ценить они не мо-

гут, не умеют, и страсти дикость дико сеют. И бури дикие пожнут... От страсти вон к греху идут. Не то, что Бога действ не любят, они богинь и не голубят. И страшно грустно мне порой от мысли этой черной, злой. Нет выхода и нет Спасенья, когда Разумно и Мышленья! Одно, с ума сходить, сойти, путь этот может по пути... Безумье — сила не изжита, нова, светла Мошь Мысли Жита... И я давно с ума сошел, но это мало против зол. Чтоб все сошли с ума — пленяю. Я мир с Безумьем поздравляю! Чтоб тронулись, я бы хотел и низ, и дол, межа, предел, чтоб с места тронулись застои, чтоб рухнули все льдов встои... Безумье я дарю уму! — меня проводят ужь в тюрьму. „Тюрьма — какая вещь? — не знаю, но страх, боязнь к ней я питаю. Меня в тюрьму влекут, ведут. И труден, легок путь... Там... тут... Что слово сила есть — известно, но совершенно отрицать ль уместно, что сила есть и Меч, и Штык, приклад, ружье, копье и мык. Есть сила все, что разрушает, стрела, яд в силе пребывает. Есть Слово, разумеется, и сила, мощь, надеется, но пушка, крепость, тоже силы, хоть слабы и недужно-хилы. Иду. Ликует светлый день, и черно спряталася тень. И в ворон черный вся вселилась, и на хребет свиньи садилась. А воздух чист, прозрачен, счеж, как аромат святейших меж, что вечером в лесу родился, с зарей ручья уединился. Снег бел, как б с неба только спал, ног человека он не знает: он бел, как лепесточек мая в ласк снах девичьих Сердца Рая. И санки приближаются. В них Молодежь катается... Когда, о, Молодь! Научитесь вы сстранствовать, — и вдаль решитесь! Пойдемте пилигримствовать, Отца и Мать заимствовать! И паруса мачт распускайте — из гнезд отцовских улетайте! На суши-море Островов есть много... И на них цветов дух черности... Цветы нарвете, безумия венки сплетете! Не виданных есть столько Стран, очаровательных, как Пан... Туда, о дети, Там... Гуляйте... Стопы, безвинность, направляйте! Играйте Трубы тонами, вы станьте Робинзонами! Политику мне-Я создайте и экономику спасайте! Пещеры ройте в Там Себе, не покоряйтесь злой Судьбе, и

не живите в предков замках и в умах тесно-узких рамках! Катайтесь в санках по снегу, как в лодочке на берегу, занятие мило, ароматно и превосходно — незакатно... И в шествия высокие, и в стороны далекие! И губы младости откройте, высь заступом мечты изroyте! Создайте новый Свет и мир, создайте сверхзвук арф и лир. Черт ль страшен, как его малюют, велик ль Бог, как его рисуют? Не так ужь трудно мир создать и свет, и Солнца благодать! Лишь говорят: „да будет“! — будет! И слово — сила, „Быть“ принудит! Не бойтесь, Бог — Великий Бог, лишь потому, что вне эпох он создал мир и не пугался, хоть мир негодным оказался... Кто не боится, тот есть Бог, он может Все и Все он мог. И кто боится — червь ползучий... Ему и солнце — грозы, тучи. Творить! Создать! В бытие, в мечте! И в истине и в Красоте сердечно, лично, но не людно... Творить, создать не так ужь трудно... Труднее знать и изучать, чем разрушать, опровергать! Да! Меньших Вы сопротивлений держитесь линий — и Вы Гений! Создайте дикий Хаос — мир создастся сам, как из блюд пир. Создайте Хаос и Условия — сам сотворится Мир тот Новый! Не бойтесь сотворить, создать, вас создала ведь Смертность, Мать, а Вы, сыны, ее моложе! Чего бояться Вам, о, Боже! Творил, родил Бог в Младости в игре, в Крови зорь радости, теперь живет Он Вспоминаньем о творчестве своем, сознаньем, что Он тогда-то Мир творил, из Ничего лил дух светил... На старости Мать не рождает, Бог ничего не созидает. Бог Бытия, Мечты — Жена, существования Струна, и Арфа, Лютня, Лира, Скрипка, и Жизни радости улыбка! Иду! За мною следуют. Меня ведут — путь ведают! Как странно, чтоб послелователь путь проложил, как Следователь и основателю с ним шествовать, невольно путешествовать! Явление это очень странно — у нас оно так часто звано... Все смотрят на меня, глядят, и взоры стекла все дробят, и взглядом, взором провожают, и сожаленье посылают вслед мне. А дальше этого глядения Одетого идет ль народ? О, сожаленья достоин он и прослезенья... А на дворе стоял Мороз,

могуч, как холод гроз, наш Двор когда же мы нагреем? И протопить его-ль сумеем? Я вижу издали стоишь, Ты на меня глядишь-глядишь. Что поведут меня — Ты знала и здесь стояла — ожидала... Ученье общности идей — нет этого мрачной, глупей. „Да если людской род обнимает понятие, это означает, что верно, истинно оно“. Философ сей бревном бревно! Все красно красным называют, но точно также-ль понимают? Ведь для меня есть Черное — борение залорное. И то, что вижу, зрю я в белом, они зрят в желтой Части, в целом... Лишь общим именем Предмет зовем мы вот ужь много лет, быть может, подразумевая другое, ровно называя... И имя тут ведь не причем, и дело ведь не в нем одном. Название не обязывает, оно язык лишь связывает. Меня ведут. Иду в тюрьму, в тюрьме я вижу тьму, зиму... Они в ней зрят совсем другое и свет, и Лето молодое. Не спеться, сговориться нам, хотя родным мы языкам понятия наши и зверяем — по своему их изменяем. Я в школу, например, иду! Я вижу в школе зло, беду! Они же видят в ней счастье, священность, ценность, обучение. Возьмем мы например, закон, я слышу похорон в нем звон, зрю грозные насилья руки... Они в нем слышат дивозвуки. И Ты завидела меня! Влечет вперед несной, звеня... Дрожишь — и на дворе морозно, и на Твоей душе так слезно. Воздушный шлеп мне поцелуй, струн трепетанье светлых струй, послушен воздух и прозрачен и образцово передачен. Его приносит, отдает. Он чист, душист, как соты мед. Он по пути не выдыхался и в воздухе не разметался! Каким его он получил, таким его он мне вручил от роз Гвоих уст отделился, он розовым ко мне явился. И, как вино сердце, пьянит, как бодрость; душу он крепит. Я поцелуй Твой получаю, шаг крепнет, твердо наступаю. И гордо я гляжу, смотрю и чисто синеву я зрю, нога самоувереннее ступает и размереннее. В ответ два поцелуя шлю Тебе: „или домой“! — молю. Тебе ль стоять по тем дорогам, они ведут к тюрьмы порогам?! Беги и избегай дорог, что охраняет Мести Бог, путей конечная цель — точка есть Власть, тюрьма,

кольцо... замочка... И мы за городом! Иду! И снег, и даль с собой веду! Я вижу башню и окошка, на них решетки, словно кошка, карабкаются по стенам. Забор... звук заключения гамм. И все в порядке надлежащем... Тюрьма — порядок в настоящем и составляют как б одно, в цепи одной одно звено. Меня ввели и обыскали, обшаривать карманы стали... Искали... Что жь они нашли? Карандаши... И их взяли. Нашли вот у меня бумагу, и черно-письменную шпагу. И отняли. Часы нашли. Тюрьма вне времени — в дали... Тюрьма не историческая категория — логическая. У них же логика вечна, им вечно и „Пока“ — жена... И правило современное стоит, как место, бременное. Вот отняли и кошелек. Безденежен, знать, наш острог. Но в книгу четко записали, какую сумму, сколько брали. Маммона, Бог великих сил! Чтоб я тюрьмы не подкупил деньгами, иль рублем, грошами, — их отняли они же сами. Падка, знать, к деньгам тюрьма, как к ночи темной мгла и тьма. И тюрьмы деньги охраняют, и собственность так укрепляют. Допрос строг: как меня зовут? Мое название не тут! Сидеть в тюрьме ведь я то буду, а именем я перебуду тюрьму и заключение: оно освобождение Науки, Мышленья, Искусства от Ложа Истины Прокрустова... Я не назвался, стал глухим, немым, — собратиям родным я буду излагать ученье о символах и о мышленье. Идет вопросов веденье. Я вероисповеданья какого? — Право, пламенного и юно, ново, каменного... Таков был мой прямой ответ: мой Бог Огонь и День, и Свет. Я младо-огненный поклонник, ночных пожаров я сторонник... Пойми: в тюрьму я угодил, как обожатель дня светил... На деле сущем есмь Родитель, безумья Слов Иоанн Креститель. Никак не поняли меня они. „Безумия? Огня“? Я языком им отвечаю и снова, вновь все излагаю. Младой поклонник я огня... Служу огню и свету дня, огню в его всех проявленьях, живу в цепи огня и в звеньях... Перед Лампадой я стою и на коленях Огонь молю, молюсь Огню в костре на поле, где варит ужин свой на воле пастух... и в молниях, громах, в красавицы младой очах, и в пламенном грудей

дыханье, в раскаянья души стенанье, и в крас заре на дев щеках, и в зорь заре на роз устах, младой я огненный поклонник слов Разрушенья темных хроник. Они переглянулись и сладко улыбнулись, недоуменно кашлянули, тихохонько пером черкнули... Прочел я: „Православного“. Волил, знать, дух Забавного пером и писаря руксю и истину самим собою он написал, и сам не знал, что в Сущности Глаз он попал. А может слово Православно Огню и Свету им не равно! Прочь мысли злы! Открылася вдруг дверь, и брешь разжилая. Калитка. При калитке будка. Мне стало страшно, больно, жутко! А в будке сторож рослый есть, и в ней скамеечка, чтоб сесть. Есть сторож будки принадлежность, и все одна здесь неизбежность. Та будка стража бережет, тюрьму же сторож стережет. Тюрьма Тебя вот охраняет. Разумие всем управляет. И чрез калитку я вошел. Обширный двор. Его обвел кругом ряд разных, нужных зданий в середине вот сарай и бани... А в центре там... Стоит Тюрьма. Мысль в средоточии ума! Тюрьма есть центр и Сердце мира, тюрьме, тюрьме бряцала Лира. Был чист и мил, приветлив двор. Вошел я в длинный корридор, где сени с камерами гнутся, то параллельно, то секутся, меня направление, должно быть, что их менее всего и беспокоит Стройность и направления достойность... Да вот окошечки, глазки, чрез них глядят глаза, очки и с любопытством наблюдают. Вот Новый! Кто он? — Вопросают. Доносится — песнь, звон цепей, томленье слышится мне в ней о мертвой жизни, заточенной, о жизни слезной, жалкой, стонной... И даже железо песнь поет с своих железных пут — цветет! Окову страстно цепь целует, железный поцелуй дарует, железное об'ятие — спасенья нет — Распятие! Рождает страшный звук, звук слезный, рождает шум и гул железный. Достигли цели мы своей. И ключ на языке ключей сказал он что-то старой Двери и действие истинней поверий. Открылася, на петлях дверь. Зрю клетку тесную, где зверь? Вновь слово двери сообщилось — опять дверь заперлась, закрылась. И тут задвижки и засов заговорили — хоть без слов. Они ключу не возражали, на-

оборот, растолковал. И дверь закрылась за мной, об'яла душу грусть тоской, запели все Печали хором и камеру обвел я взором. Ее измерил ширину... И нары шли во всю длину. Да: одиноким одиночка, над і стоит его знак, точка. Секу я мысль, резцом вая, есть камера, тюрьма моя квадрат. И я постиг: со кругом ведет борьбу квадрат с злым другом своим. Квадратов не люблю, у Бога круга я молю. Но комнату свою любил я, какая выдержанность стиля: окно, решетка на окне, никто не сможет взлезть ко мне. Дверь заперта, не помешает, досугом кто располагает. И я один — так следует! Я вечно Соло — не дуэт! Через окно я вижу чистый снег, словно серафим душистый. По снегу ходят голуби, воркуют: го-го-го: любви! В снегу зерно клюя забавно и двигаясь тихо, плавно, по снегу оставляют след. Их в голубятне ждет обед, по мновенью улетают, и все вдруг разом исчезают. Напротив женская тюрьма. От умности я без ума. Как человечество на классы: бездельники и трудомассы, на группы, Полы, Возрасты, на общество. Я роз крас Ты, — тюрьма деленью отвечает, мужчин от женщин ограждает. Иудейство в лоне гречества! История человечества: борьба групп, поколений, классов и Полов и всех Мироспасов. История соответствует тюрьме. Острог свирепствует... Увы! Смотрю: здесь все разумно, гармония везде безшумна! Лишь нервозирует меня замок железный, как б дразня. К чему замок? Я вопрошаю, никак ответа не встречаю. К чему замок, дверей пальто? Здесь красть не будет ведь никто! Сюда ведь воров не пускают. На воле воры поживают. Замок заржавленный к чему? Не поддается он уму! Одно здесь это не разумно — замок, как средь пустыни гумна. Да, неразумно здесь одно, на солнце умности пятно. Замок меня так раздражает, невыдержанность угрожает... Замок меня смешит, дразнит несоответствие говорит. Я начал было улыбаться, затем и хохотом смеяться... Смех был не истерический, мой хохот был эпический. И мне замок смешным казался, и я смеялся, улыбался. Смешными даже голуби казались мне в души голуби. И я смеялся, и смеялся и даже сторожу

казался смешным я, и смотрел в глазок он на меня, и был смешок его мне через дверь, тишь слышен, я знал мой хохот, смех возвышен. И в дверь слегка я постучал. „Мне выйти на ю“ — я сказал Есть Слово грозное — владыка, что даже заключение дико боится мощи сил его. Речь, слово — всем нам Божество. Даже надзиратель почитает его, боится, обожает. И вышел вон я в корридор, я чуял ветер, хлад и двор. Там с незнакомыми встречался и разговор вмиг завязался: и сколько вам? — „мне тридцать лет работы каторжной“ — ответ был прост и прям. Он улыбнулся, слегка, лениво потянулся „он молодец — подумал я — уверен: будет жить до дня, что за лет Тридцати пределом лежит сокрыт в тумане белом...“ „За что пытаются здесь Тебя — ответ: „убийство!“... Вне себя я был... Как странны, глупы люди! Душа! Еще глупей их судьи! И пессимизм, и оптимизм ума трагизм и комизм. Противоречий, разногласий в себе содержат груды, массы, и если Жизнь нельзя убить, то и нельзя и жизнь родить. Нам оптимизм воспрещает убить, родить не разрешает нам пессимизм. Как победить вопрос? Нельзя родить?! Убить нельзя?! — Убийцу все карают, детей рождение награждают. Безсмыслица тут явная. Родильница ведь равная убийце: на Жизнь обрекает она Дитя, и не марает ее закон! Страдание есть жизнь и умирание. Родители родить как смеют? И право ли на то имеют? Свое дитя, ли сына, ль дочь, обречь на темной жизни ночь, на вечность, страшность, грозность муки, что заглушат лир смерти звуки! Есть больший грех рождение, — учу! — чем убиение; есть смерть страдания мимолетность, а жизнь тягучесть и тяготность. И мать-жена колдована, как и тюрьма, основана на идеальном оптимизме, и в этом факте, как во призме закон, жизнь наша отражается, смерть в жизни ведь рождается... Стоим под знаком оптимизма тюрем и Жен и деспотизма. Родильница да здравствует! Тюрьма! И Власть да правствует; — в свою вернулся одиночку, как вешней жизни сок в древ почку. Ведь Я — Я, пантехникалист. Я в одиночестве цветист, и я великий одинокий, и хоть глубок — все я высокий. На нары

голые я лег. Так жестко, что лежать не мог. Как жесток оптимизм — смеялся я день-деньской, тем забавлялся. Да. Вечер. Лезет Тень ко мне. Крадется тихо в тишине. Проверка. Настежь отворилась дверь, словно в лихорадке билась. Вошли. И Я не одинок. Был надзиратель толст, высок. Он старший. Были остальные и меньше ростом, не младые... „Встать!“ — слог сей кинул низкий бас, уверенно, как пес, кусая вас. Воздушно волны колебались, и рябью легкой отозвались. Вопрос решен. Да, нужно встать. Должно уметь повелевать. Ослушаться никто не смеет, а слушаться ведь все умеют. Таков был человек всегда, в сосуде влитая вода, что принимает разность формы, — он больно уважает нормы. Эй, совершай! И он свершт, раба дух повеленьем шит. И все равно кто возбраняет, безпрекословно исполняет. Лишь б глас у приказателя был твердый, как ваятеля резец, чтоб сила ощущалась, достаточно, чтоб нам казалось... Встал. Сенника я попросил. И смех уста их искривил. „Мы вас совсем не ожидали и сенников пораздавали“. „Не наберешься тут на всех, вас слишком много, как на грех!“ Смешно! Я принялся „смеяться“, и за бока пришлось держаться. Да неужели то у нас нет сена? Беден край ли наш! Иль кони наши все поели, и нам оставить не хотели? Мою лампадочку зажгли, и скорбь, тоску ко мне ввели. И вышли все, дверь затворилась и камера уединилась на всю ночь... О, тоска, тоска! Как злая черная река волною душу мне омыла... Тоска! Грусть! Словно боль заняла, что грех рожден на дне, в грехе как мгла во мглистой шелухе. Тоска в Дух шупальцами впилась и когтями, свирепо злилась, рвала, мне растерзала грудь твердила: „вспомни и забудь!“ Мне тяжело, невыносимо! Мне больно! Боль невыразима! Не унимается Печаль, Тоска, и жжет, как адская Кирка, как меч ржа-ржавчиной испитый, как скорпион, змей ядовитый. Невыносимо тяжело! Дыханье, мысль грудей, сперло! Глаза, как дверь, я закрываю, не плачу я, — а застываю! Что плакать! Оптимизма лес! Какое чудо из чудес! Но оптимизм меня так давит и не дает себя он славить. Меня

квадратиком обвил и наглухо дверь затворил, я в оптимизме задыхаюсь и пессимизмом злым спасаюсь. Я — Ты. Я рыба, где вода! Могу Тебя ль ввести сюда! Здесь оптимизма слишком много и заключение слишком строго. Влюблен, мне восемнадцать лет... Тебя узреть! О нет и нет! И без Тебя жить не могу я, живу, стен пустоту целую. Я раз тебя поцеловал, и разлучил нас темный вал. Не плачу я, я каменею... не плача, плакать я умею. Над оптимизмом не смеюсь, а скрежещу зубами, злюсь... И ночь прошла. Как? Что? Не знаю; к забытью ночи провожаю. Пусть ночь поглотит ночи тень! На следующий утра день занялся математикою, динамикой и статикою. Я вымолил карандаши, и ставил точки я в тиши. Из точки линия вытекает, а линия Безконечность знает. Родила точка и эфир, родила Линия весь мир. А Линия ведь безконечна, и что в пространстве, то безопасно. Есть математика — тюрьма, острог лишения ума, квадрат и дважды два четыре, точь в точь! Не уже и не шире! Да! Настоящая тюрьма! Строга разумность дум ума. Никак не мыслимо иначе, все данные лежат в задаче... И алгебры симметрией, и высшей геометрией в тиши ночей я занимаюсь, и от тоски злой тем спасаюсь. Тюремное занятие! Вот ясное понятие. Товарищ в стену, слышь, стучится, но стукацию научиться я не могу. Грамматика тюрем есть математика. Нет геометрий выше ниже... Изобрели для снегу лыжи... Да! Безконечна Линия... Вон блещут звезды синие... И до реки... что за оградой шумит и плещется оградой... Прогулка. Я опять один. Я одиночки бледный блин. Один. Гуляю я с Тобою. Зрю: неба тучки стороною плывут вдаль на восток, на юг. Они и воплощают круг, другие формы дивно, разно, все были чисты и алмазны. И под ногами мягкий снег, он нежен, мил, тих, как побег. Меня одна сопровождаешь и голубей Ты не пугаешь. Воркуют голуби вокруг нас, мы в воркованье сердца крас, и Ты вся в белом, чистом снеге, и Ты вся в мысли о побеге... Дом сумасшедший — не тюрьма. Теперь и Ты одна, сама ко мне через окно приходишь, а там — мечтой, бывало, водишь мою... В комнате сидишь.

Ты ждешь меня. И млеет тишь. Закат огнями украшает заход и тучки зажигает, и волосы Гвои. К лицу Тебе Огонь... Идем к крыльцу... Ты смотришь, глаз свой напрягаешь, меня всем чувством ожидаешь. Волна. Ты безпокоишься. Шаги. Ты дрожью моешься. „Вот он идет“... Дверь отворилась. „Не он“... „А почему“? Змеилась мысль злая,— почему не он? И взвился из груди вздох, стон: „приди“!— меня Ты призываешь. „Придет“!— себя Ты утешаешь. „Не опоздал он никогда и не случилась ль беда“? Букет цветов мне покупает, цветок к цветку он подбирает. „Идет, несет он мне цветы“. „Зачем пришел так поздно Ты“? Я злюсь... Цветы благоухают и ароматом орошают всю комнату мою. Он мне жмет руку тихо в тишине. Мне говорит: „я благодарен“! От радости весь лучезарен. Ко мне он наклоняется. И с уст моих роняется роса. И поцелуй раздался и звуком нежным отозвался. К груди мне приколот цветок, его целую я в висок. И лоб его, как мысль, высокий, высок, как чувство преглубокий. Какие у него глаза? В них добродетели гроза. Глаза такие у пророка, красы видения востока найдешь; или у синевы небес очей ночей травы. Шаги. С окна Ты оторвалась, улыбкою вся освещалась. И вдруг дверь затворилась и тьма во тьме затмилась. Сестра твоя вошла беззвучно и с поступью скорбь не разлучна. Испуг. Бледнеешь и дрожишь. Одно мгновение молчишь! „Известие в твоей печали“! „Его в ту ночь арестовали“! Прогулка близится к концу. Из под венца — иду к венцу. Разстался на дворе с Тобою, иду один с моей Тоскою. И еле я плетусь, устал. „Знай, летом здесь один бежал“... Товарищ мне рассказывает, подробности показывает. „Вскресенье. В баню повели. И стражи выход стерегли ослабно. А он взлез на крышу. Бежал! Бежал!“— кричат, я слышу. „А он вот с крыши на забор, блеснул, исчез, как метеор. А за забором протекает река... Вода не устрашает ведь узника. Он в воду скок! И так чрез реку и утек, противоположного берега, благополучия побега, достиг. На землю твердо сел. И о кандалы загремел тяжелый камень... Цепь разбилась... Его нога

освободилась. Растет на берегу том лес, он для побега перст небес. В лесу густом, как Сон, забился, и больше к нам не воротился. Хоть гнались сторожа за ним, на воле бег не догоним. Хоть гнались, гнались — не поймали, и баню-то беречь устали“. Глубокая грамматика, о, плоскость, математика, в темницу нас ты запираешь, но и сама освобождаешь. О, милые касатики! Посредством математики побег удачный свой устрой и славою главу покрою. Мед слаще, чище патоки — нет выше математики! В ней выход из тюрьмы мышленья через забор в реку всепенья. Река течет, волнуется, игра крыла — целуется. И за рекою лес дремучий, как сон искусства струн не учий... Была вначале умотьма. Не слово — действие и тюрьма. В конце же будет Царь-Мышленье, ума и сердца Песнопенье... На оптимизме держится Гюрма и Волевержица: однообразие в разнообразье... Пойми, сплошное безобразье. Двуногое создание тюрьма и прав сознание. Я там сидел, она двунога... и к ней ведет Эс-Дэ дорога. Занялся целый ряд ночей я геометрией лучей, что выше, ниже даже забора... Ведь свойство линии вне спора... Ее ты можешь протянуть до бесконечности. Там путь прямой ведет, Тебя уведит... и мышленья свободу родит. Тюрем однообразья фон. Дни знают сей простой закон. И дни, часы различно, разнó сплели мне год однообразный. Был вечер, утро и был день. И выростала темно Тень. И год минул — и вечно в вечность, вот точка, линия — Безконечность. Так библия и говорит, что жизнь одно мгновенье бдит. Она священное Писанье, не светское пера маранье. Написана вся библия огнем, он спит в ней зыбь ля; она святых, селых книг книга и первых всех вериг верига. И Боги, Вера, Библия, Наука, Нормы — гиблые... Тюрьма — священное писанье, научность, миропониманье.

математика.



XII-я ПЕСНЬ.

С Тобою!

А что такое светлый день, иль темнота, безпросветность, Тень? Иль чернококость, ночь? — Не знаю. Безмысленно я угождаю словам, а сторож говорит, что днем он бдит, и ночью спит. Наоборот! Я объявляю. Плащ времени употребляю иначе: крепко сплю я днем, когда не спит никто вдвоем. А ночью бдением воркую, но духа ночи не волную. А что такое тьма и ночь? Бесилье или силы мочь? А может третье иль шестое, не старое и не младое. А может ночь есть Радуга и перемен пера дуга, предсмертное для нас рождение, от смерти вечной избавление? Да! Может быть, что может быть, и можешь слыть чем хочешь слыть! Бытье — какая вещь — не знаю. Живу, пока не умираю! Безумье — знаю, — светлый день. А Разум — тьма и мгла и Тень. Вот первая здесь аксиома, как есть усталость, есть истома. Безумен день. Сошел с ума. Его бежит разумно тьма. А тьма здрав смысл, Разсудок, Разум и ум, и Мудрость, хитрость разом... Что было раньше, Разум — ум иль дней Хаоса дикий шум? На сей вопрос, знай, нет ответа, — неосвещенная планета. А может одновременно бытие родило племенно, сказать наверно не беруся, на знание я злюсь, сержуся. Я сплю, я сплю по целым дням. Тоскую по теней детям. А по ночам я спать не смею, кую великую Идею! И вот прошел тюремный год, и уходило много вод... Я алгеброю занимаюсь и с геометрией знаюсь. Я Геометрию люблю! Венок рукой ей вью! Хвалю! А алгебра моя чем ниже, тем к Истине моей все ближе. Прямые, острые углы, и ночи, дочери темной мглы. И я серьезно почую изу-

чаю, теорью с практикой братаю. Как сон, кошмар — зима прошла. С собой тоски не унесла. Весна моя не наступила, не близилось мое светило. Была и Осень и Зима. За тьмою смерти ходит Тьма. Светило на пути застыло, земля задвигалась — все плыло! — Во тьме крошечной злых ночей! Ты победил мой Галилей! Ты победил галилеянин, зарылся в землю дум крестьянин! Всегда земля моя Стоит, светило кружится — летит. Но в том году и в том столетье земля, песок пошел — заметьте! Я за год курс мой весь прошел, работал, словно выучный вол. Я алгеброю занимался, все рылся, рылся, да копался. Науки математика мать... Печали статика ее родила... Ее убийца она... На трупе ворон-птица, и смерти гроб и колыбель, рог утра, вечера свирель, и жизни песнь, звон похоронный, веселья глас и вздохи, стоны... Ударил в колокола, трясется, гнется хвал Алла! И тюрьмы темно содрогались, и математикой назвались. Я не бежал, я встал... ушел... Я низший, высший курс прошел. Была дождлива ночь преломна, душа миров сира, бездомна. И между небом и тьмы мглой витает демон черный злой, на небе ни звезды — гроз тучи, что слезы хладные, плывучи, роняют. И земля вся спит, в объятых тьмы. Тюрьма храпит. Иду! Я зрю места все те-же, и дышу... воздух влажный, свежий... А издали раздался лай, жилье здесь не далеко, чай. Собаки не боюсь — пусть лает. Собака лает — не кусает. И даже укусы не страшны мне, как поцелуй в ласк тишине сердец с намереньем измены — в нем нету волн, а есть в нем пены. Иду я быстро. Тороплюсь, на слякоть, не на тьму я злюсь. Влезаю, еле вылезаю. Иду к Тебе, Я не блуждаю. Темно кругом. Зги не обнять. Я падаю, встаю опять. Иду, бегу. Вон город вижу, люблю я город, ненавижу! И сердце бьется, близится, оно к светилу низится, идет к лучам и вешне тает, и бьет, поет и замирает. Землею к Солнцу мы идем. Прав Галилей, он прав — бредем! К светилу дня мы ближе, ближе, и выше то, что было ниже. А город, улица, дом спит. Иду и шаг один мой бдит. Тишь. Тишь. Извозчиков не встретишь, иль в темноте их не заметишь. Иду пешком. Как я

устал! И устали не знал, прогнал. Я ближусь, сердце торжествует и встречу райскую ликует. Вот ваша улица. Гляжу: она, но без конца; тужу. Ты ждешь-ль меня, Ты-ль ожидаешь? Ты-ль спишь? Во снах небес витаешь? Ты грез мечты цветы все рвешь, Тебе и мне венок плетешь? „Иду“! — Ты знаешь, Сердце знает то, что ум не подозревает. На шею кинешься — ко мне, польются Радости во сне, алмазы слезные роняем, тоску в веселье претворяем. И я Тебя поцеловал, звук искрой тела запыхал. Ужь год как мы не целовались, уста мои проголодались. Была зима и лютый хлад, весна — и поцелуев глад, и лето — поцелуйно было алканье, жажда в нас завывала. Гляжу: стоит родной мой дом. Я обхожу его кругом. Здесь мама... Нет не постучусь я, к Тебе одной, к Тебе я мчуся. Я из тюрьмы иду к Тебе, как человек к своей судьбе, обходом Мамы не обидел, ее я на свиданьях видел. Она Твои приветы мне передала в слов тишине. „Ей не дают с Гобой свиданья“ — сказала мне не без стенанья. Сказала и заплакала. Конфетам так подтакала твоим. Храню, несусь с Собою, хранил их летом и зимою. Хранил по целым дням, ночам. Теперь я их Тебе отдам. Я ими жил, дышал я ими, хранитель ангел был хранимый. И я стучу, опять стучу. И жду... внимаю и шучу. Стучу... Стучу... не открывают. Невольно — злюсь — меня пытаются. Стучу. — А кто там? — Я! — Кто Я? И голос мой забыт? — Тая зло подозренье, называюсь, на имя-силу полагаюсь. Не открывают и теперь. Стучу. Чуть не ломаю дверь. Шаги! Прислуга их выходит и взором злым меня обводит. „Чего Вам“? — „Дома-ли Любовь“? Молчит она, молчит, как кровь застывшая. Не понимаю, и вновь ее я вопрошаю. — „Она давно ведь умерла“... Глаза мои слепила мгла. И тупо ноги подкосились, и сердце, ум, душа затмились. Но духом Веры не упал. „О, лгунья, Ты! — ругаться стал. „Лжи темной Бестия, каналья! Зачем пришел, зачем бежал я?! И замахнулся я рукой, но опустил во тьме ночной. „Тому... ее как хоронили два месяца“... ее затмили... И жизни сжата полоса... Отверзлись смерти небеса. И где кладбище? — О, я знаю... И за-

живо я умираю. Иду на смерть, на жизнь иду, я мчусь, несусь, вверх, вниз, в бреду! Я знаю где и что кладбище, оно для Прошлого жилище! Все то, что „было“ и не „есть“ над этим ставим крест — и лесть! И где кресты, там и кладбище, где смерть, там для червей и пища... И много там гробов и плит, и тишь... лишь надпись говорит... Кладбище для меня Наука, не слышу в ней я жизни звука. И надпись нескончаема, как тьма непроницаема. Вот Кант и вот его гробница, вот критицизма небылица. И вместо черной росы неверные стоят весы, что вихорь злобою качает, туда, сюда, назад бросает. И Аристотеля вот гроб, чернеет надпись, как дух злост. Хоть буквы стерты — все же видны, кругом змеются зло ехидны. Гробница — в ней зарыт Ньютон. И надпись — физики закон. Стара ужь физика, он мертвый, его несчетны уможертвы. И вот гробница... Он живет... Я хоронил его полет. Я хоронил в чужой могиле, он творчества ума безсилье. Могилы он не заслужил, чужим крыло чужих вручил, могила у него чужая, чужой в чужом и умирая... И вот Спиноза спит в гробу. Ему я объявил борьбу. Гробница: мертвые причины. Синтез: долины гор вершины. И надпись: штык да острый меч — ведут беседу крови, речь. Свою гробницу он имеет, своим быть смел и ныне смеет. В его гробнице хоронил я многих, каждого, кто вил ему венки чар поклоненья — нашел в гробу там хороненье. Тесно! Тесно! Впредь не имей последователей идей! И вот Бэкон. Там два Бэкона, в одном гробу два истин стона. Один хозяин и слепец... Другой... хозяина жилец... Один монах, другой сановник, чужих дерев хорош садовник! Индукция, дедукция, и смерти дня инструкция. И мертвы, мертвы, мертвы оба, индукция мертва до гроба! Я прибежал и стал искать, вечна в исканье благодать. И я нашел, зрю возвышенье, а плиты нет, одно неменьше... Лежу на этом бугорке, я бился в трепетной тоске, и в муках ада умираю, и в тишине души стенанья я обнял смерти бугорок. Он был мне жизни зорь восток. Я плакал и рыдал — смеялся, как перемена вмиг менялся. Смеялся

голосом младым и плачем плакал я седым, деревья, пригрозя, шумели, и гнулись сосны, гнулись ели... Чего шуметь? Не знаю, знал. И в море гнева речь их — вал. Не человекам, им сердиться зачем и гневаться, и злиться? Казалось мне ночью той, что на меня их злоба, вой. С деревьями я объясняться стал... плакать ли мне или смеяться? Деревья вдруг притихли все, в тиши краса живет в красе. Сказал я: слухом почитайте, затем судите, осуждайте! Тишь-тишь... И благодетельно главами сожалеательно покачивали, сострадавая, чужое горе понимая. Величья Сострадание! Живет и умирание и древо стоном застонало, нагнулось, о землю чуть не пало, меня и Младость сожалев; и трогателен был напев. Послышались Охи, Стоны... и плача Тоны, полутоны. Я холмик страстно целовал. Моим его считал, назвал, молитву сердца, слезно орошая, творил: „о, слышь, Ты, не земная! И выходи ко мне, мольбе внимай, стучуся в гроб к Тебе. Они открыты мне не хотели, „Тебя нет“! — изрыгнуть посмели и я бежал, сюда я прибежал Нашел Твой дом, его узнал. Открой... Ты спишь и Ты разлета — оденешься в платье Солнца света! Вступи в твои селения, душа раба Видения! Я даже не зашел и к Маме... Открой, стучусь душой... Я в храме... Я издали к Тебе пришел“! Деревья как единый ствол заплакали и застонали — и в каждом вздохе Мир Печали. Деревья, что рыдает! Деревья, что стонает! Заплакал я, душа рыдала и струны сердца пребирала. У каждой чувств струны свой глас печали, скорби вечных крас! Слили скорби во-едино, родилась песня соловьино!.. И слезы капали... Дождь льет! И плачет небо, синь уснет. Я плачу, вихрем я рыдаю и в ожиданье обмираю. Шаги... То шопот крыл мечты. Из гроба сна выходишь Ты разубрана и вся нарядна, землей отрадна — и Перворазрядна! Выходишь, отворяешь мне, порхаешь в вечной тишине. Сидишь Ты на моих коленях, и вся Ты в ароматных пенях. И плачешь от чар Радости, дрожит струна Всемладости, Я плачу, веселясь, с Тобою, деревья плачут с нег рососою души. Родник Веселия бьет, капли нот в красе лия. Но миг прошел —

Тебя уж нету. Темнеет свет, боясь свету... Исчезла бледно благодать. Хочу Тебя найти, искать... Пустое место обнимаю и пустоты мрак осязаю. Целую тьму. „Ты умерла“! Сокрой меня сердечья мгла! Прислуга зла мне смерть творила, она Тебя тем и убила. Я волосы... со злобы рву, и вихрем злоб души реву. Бушую, вею, плачу, вою, главой себе могилу рою. И лягу я рядом с Тобой! В могиле обрету покой! Деревья плачут и рыдают и слезы горькие спадают. Припало дерево к земле, отчаянье в чувств ночи мгле, заплакало бурь страсти ревом, что милость Бога звало гневом. Их трогает моя Печаль. Природа — вот сердец вуаль... Не то что люди, зло! Природа совсем ина ее порода. И я опять стучусь: „открой, ведь я пришел к Тебе домой. Тебя улицезреть желаю... Ко мне ты выйди, — заклинаю. Ты разум сердца — и пойми! Бежал к Тебе, меня возьми! Ко мне Ты выйди — ожидаю, в Тебе душой я обитаю! „Услышав голос мой, встаешь, выходишь, руку подаешь Ты мне, бросаешься на шею, я высшим счастьем неба вею. Ты счастлива, Ты весела, поклон Луне отвесила. Ты улыбаешься, смеешься и в звуках этики Ты гнеешься. Целуешь огненно меня, целует день светило дня, лед, воду, холод устрояя, и глад сердец глубин гоняя. Да что такое поцелуй? Не колебанья-ль сердца струй? Не плод-ль от полодрева рая? Я знаю, зная и не зная. Великое Проклятие есть уяснить понятие, что нас чарованно волнует и вечность в миге ласк дарует, Блаженство есть и Счастье есть там... в море роз устами гресть, возлюбленной руки объятье есть наше высшее понятие! Да что такое душ Любовь? Вспою ее как Речь и Кровь! А что такое Презиранье? Не расцветанья-ль увяданья? О, научитесь Сердцем жить! О, научитесь вечно плыть всем телом, Чувством, всей душою и скорбью, грустью и тоскою. И научитесь презирать „Они“ свое — „Вы“ уважать, любить и пред Ним преклоняться, в Вы-Я одно перетворяться. Любите Ваше Я, Я-Вы, звезды он Сын, Дочь Синевы. Любите сердцем и целуйте — о поцелуях не толкуйте! Зачем, к чему все объяснять, явленье толком осквер-

нять? Ведь поцелуй уст есть не больше, чем поцелуй и длится дольше, чем вечность Счастья, чем миг и ароматен, словно блик, что Бог пропел в бреду влюбленья молодой Богине Сновиденья... Духи души, кадрили лия... И белая, как Лилия, рука есть дивная дев ручка, мы млеем от нее, как тучка от солнца света, от луча, и падаем, как от меча, копья... Останется тоскою тоска... Моя душа — Душою! И так, к чему нам толковать, зачем нам кривотолки дать? Ведь солнце светит, ибо светит, Любви Лук метит, ибо метит. Люблю я, ибо я люблю! Хвалю я, ибо я хвалю! Любви явлений толкованье — есть искаженье и ломанье, — И света толкование — затменье, умирание. Не смейте дать и описанья струн вздоха и лесов стенанья! Слепые, вам ль цветы писать! Глухонемые, вам ль внимать?! Вам звуки песни — колебанье! Колеблется все ваше зданье! Трясутся больно небеса... Его единственность краса уничтоженье и крушенье и заблуждений заблужденье... Целуйте и родится звук из вечности — мгновенья „вдруг“... Создайте и творите звуки — а толкованье — мысли муки. Молчать! Молчите! Говорить к чему? Не лучше ли любить! Вы вечно словом говорите! О, Делом, Действием творите! О, делать и творить, создать, любить, лобзать и целовать! Вначале было Все-Безумье в конце и будет всебезумье! А в середине Действо, акт и дело, и Безсловье — Факт. История здесь Людомира, безумная так учит Лира. История Сознания — история Молчания! А глупо мысли говоренье есть преисторья, заблужденье. „Твори Творец, а сам молчи!“ Ты молотом, резцом учи! Да будет Действие и Дело — смелее нет, чем дело смело. Сказал и хорошо сказал, так как не понял, что гадал; смычком явления риёмуйте, но их никак вы не толкуйте! Кто даст обет Молчания — монахом Созидания он будет... Попадет в обитель, бессмертья Дела пресвятитель. Учитесь в обществе летать, как дух и яко мысли тать, создайте Жизнь аэропланы, в пустыне жизни караваны! Причину дайте застрелим! Жить будем случаем одним. Идем к возможности Творенья, и что сильнее заблужденья! Любить, ласкать и целовать! Творить

и вечно созидать! Разрушим университеты — безумья сотворим планеты! И без Безумья счастья нет, и нет хвоста, и нет комет, нет поцелуя Благовонной и нет любви в любви рожденной... Сожгите Дух своих стихов, мне поцелуйно дайте Новь, в огне Лобзанья пусть сгорает, в росе роз уст пусть утопает, и гаснет ярко-светлый стих! Настал лобзанья, целованья миг! Пусть меркнут звезды — потухают, шаги дня по горам ступают! И молкни, Страсть, и растворись — есть в сердце выси сердца высь... И пусть в искусстве Мир, Природа утонут, как день в море года... В искусстве вечном и в красах, как звезды, миги в небесах. Дух Техники освободите от паразитов — и творите! Наука вредный паразит, как Муха у Вола сидит на лбу, и слышим „мы пахали“ — а не кровь техники сосали. Берите ветвь! Ее согнуть! Ведь можно Муху ту спугнуть! Назойливость и самохвальность и дерзновенность, и нахальность. Кто хочет жить, существовать — пусть он с детьми пойдет блуждать! Со мной пусть в истину играет, игра бессмертье завещает. Знай, Техника одна — серьез, наука — чадо мысли грез; игра, разумное искусство, ее родила Мысли Чувство. Потребность есть Мышление. Ум — Чувство, как слух, зрение. Мышление — духа есть дыханье, его разит, бьет умиранье. Ловите мыслей чувств гору, играйте в Истины игру! Целуйте и, любя, любите, безумствуйте, — любя, творите! И будет Жизнь, что Рай, Эдем. И творчество без нормы тем. Высокую я вижу гору. И горную я чую пору, грядет до Безконечности, перешагнуло Вечности предел, рубеж, и на вершине холмится в гордости пучине богов Безумия храм, храм, туда идет младое „Там“. Идемте Богу поклонимся и фимиамом воскуримся. Сегодня сторожа позвал, чтоб он ковер пред мной постлал, пойдём все на Безумья Гору, внимать Безумья Богохору. Где та Гора? Страж мой спросил, круг я ему рукой чертил, на запад, юг указывая восток и север связывая. Безумья Храм обширный мир, ему Война и Жизнь, и Мир. Гора летучее зефира, она могущая чувств Лира. Он не пошел. „Клонит ко Сну“ — сказал. Я подошел к окну. В окно светило дня глядело и все вином его хмелело. Я яркий луч рукой пой-

мат и, показав ему, сказал: оно за мною Луч послало, Безумье Солнцем Разсветало. Как не пойти, когда зовут и приглашенья цепь плетут и путь лучами выстилают, что как цветы благоухают. Я луч второй поймал. Вот звон! Ты слышишь ль новый мирофон?! Нас в Храм Безумья приглашают и на органе дум играют. Ведь завтра воскресение, безумья миропение! Он слушал, понял, согласился, безумья духом осенился. Мы ночью выйдем и уйдем, дом Сумасшедший обогнем, отправимся к горе чрез реку, к безумья храма миговеку! Мой страж последователь мой, и первый он пойдет за мной. Кто первый, тот ль последователь?! Преступник сам ли следователь?! Он первому равняется, а первоствь ль расчленяется?! Кто первым был — тот вечно будет, он вечно вечность перебудет! Кто первым был — есть им всегда, и вечен он, как ночь, звезда, что на волнах, зыбях качаясь, свет льет, живет, не утопаясь. Вдруг воцарилась векотишь, и на коленях Ты сидишь моих, мне шею обвиваешь рукой, тихохонько ласкаешь. И что-то шепчешь мне в тиши, и льется звук из гнезд души. Лицо свое в свои я кудри упрятал, и души змей мудрый замолк, затих... Биение и вечно сердцепление я слышу, слышу жизни Танец, и на твоих щеках румянец... Играет, и заря встает. Синь прояснилась, высь цветет. Плачь-дождь престал... В уста целую тебя... Цепь злата уст дарую. Твои уста — огонь огня, твои уста — заря утр дня... Вдруг маму вижу пред собою бледна и сгорблена дугою — „что делаешь? Идем домой“! Сказал мне глас больной, родной. Я гласу матери внимаю, дрожу, боюсь, не отвечаю. Тебя не стало. Ты ушла. Кругом змеей разлилась мгла. И мамина слеза упала мне на руку, жгла, сожигала ее... Слеза — души огонь, а матери слеза — огонь огня и пламени Всепламень, он расплавляет Людокамень. Я понял, что тебя здесь нет. Я встал. В очах померкнул свет. Ведь Ты живешь, а здесь кладбище! О, мертвым — мертвое жилище! Ты жизнь. И Бог есть Бог живых. Любовь — любовь сердец младых, то правило любви всех правил... Какой же путь меня направил сюда? За мамой я пошел. Тебя здесь нет. Я нищ и гол. Тебя ищу, Тебя отыщу в дебрях души своей я рышу. За мамой своей иду, тень

щупаю Твою, веду. Ступаю с нею рядом, ладом. Мы поравнялись с Вашим садом. И словно вспугнутый струн звук я вырвался из мамы рук. — Куда, мой сын? — меня спросила. Меня зовет иная сила. К ней мчусь, стремлюсь, лечу, иду! „Она живет! Она в саду“! И бросился я что есть мочи... Во тьме Твои я вижу очи... И я бегу, и вот Твой сад. Дерев стоят ряды микад. Где Ты? Легко ведь догадаться, я знаю, Ты пошла купаться. В одолимой чар тоске пошел я, побежал к реке, в которой Ты тогда купалась, нагим сверхтелом отражалась. И из которой Ты, Краса, явишься вновь, как небеса. Я в реку бросился. Погналась за мною мама, опасалась: иду, хочу я утонуть — нет! К жизни молодой мой путь! Детей своих не понимают, высот родных не достигают. На помощь стала мама звать, и собралась старцев рать. И выудили вот насилу, но у меня хватило пылу и воли... Я к Тебе хотел, опять к реке сбежать успел, в воде по-шею погрузился, от них я силою отбил. Но вдруг я вижу Ты стоишь на берегу крутом — глядишь на волны, на устах улыбка. Она уда мечты — я рыбка. И выскочил я из воды, как Бог грозы, как Лук беды, я бросился бежать... На шею повис Твою... И в счастье млею... Ты предо мной... со времени того мы дни вне племени, в мечте одной златой проводим, и тень мы за собою водим одну... Сидим на берегу. С тобою мысль я стерегу, а под ногами травка... вешня, мягка, тиха, нежна, как песня. Над головою небеса, лазури чистой чудеса, и в сини истой — Безконечность и в сердце младосчастья вечность. И пташки в воздухе поют. Из тонов нам венки совьют, в выси блаженства песня льется и счастливо так сердце бьется, пьянит, хмелит вино Весны, играет и без струны. Ваш сад стал Полонеба садом, мы пели ладом и не ладом... Смотрел я в небо и в глаза Твои, в них — океан, гроза... Сидим, молчим, молчанья звучны, мы здесь, мы вечно неразлучны. Мы синева, а Ты звезда... Приносят кушать нам сюда. И стало солнце дня спускаться и тень волшебством наслаждаться. И тихнет пташек пение, идет сон и забвение, вода, как роза, нежно рдеет, и ветерок крылом свежееет... На ветке листья шелестят, тоскуя,

тучечки горят. Светило за горой садится, и грусть души теней родится. Сидим мы оба, говорим. Тихонько-тихо мы горим. Мы не хотим будить светила, пусть Солнце спит, оно спит мило. Рассказываю, как бежал, как по Тебе я тосковал, как ветка к солнцу я стремился к Тебе... И как учился, бился... Не будет силы той и нет, что сокрушить могла б завет соединенья. Неразлучны мы... в ночи тонах однозвучны... Одна душа, но в двух грудях, одна мечта, но в двух грядках... В саду заснули мирно гнезда, и в небесах проснулись звезды... Зовут. Я слышу голоса. „Свежо, прохладно и роса!“ Я не уйду!—Мы не уходим. С небес в речке очей не сводим. Свежо! Но холодно ли мне?! Я платье тку в снах, тишине. Звезда звездит, Луна восходит, мир оком чар своих обводит. И серебрится влас косы твоей... Зажглись средь росы сверхдрагоценные камни и дива светопреломленья. Твоих волос росу я пью... И тихо сердцем песню бью. Сидим мы, молча, и читаем, мы книгу неба разбираем. Читаем в книге светлых звезд путей плеяд, межей борозд. Там Боги Божье написали страницы Счастья без Печали. Читаешь Ты, я за Тобой... Строка строки живей живой... Как чудны песни, чудны строки, так могут Боги одиноко писать, творить и рифмовать и, песню песней целовать. Влюбленный Бог ведь выше Бога, влюбленность, Неба тишь—дорога небес святых полуночных, она как сердце молодых... Влюбленность, боги Там писали к влюбленной Той небесной Дали влюбленным сердцем, ярким Сном, влюбленным мирозанком, влюбленной рифмой, Словом, слогом, в влюбленном дактиле не строгом, в влюбленной чар грамматике, в влюбленной систематике, влюбленья Боги их писали, богам Влюбленья их читали. И звезды нам читались, читались, обнимались, мы слышали, созвездья звуки любовь нам пели без разлуки... Звезда читалась звездой, влюбленья звуки шли волной, и воздух, и эфир влюбленный, в любви он разнооднотонный. Внимала им влюбленья Высь, влюбленья звуки „браво!“, „Бис!“ Влюбленными людей глазами влюбленными сердцами грозами... Читали всю ночь напролет той книги дивности полет. Восток. Заря зорь занималась и весело нам улыба-

лась и звезды меркнут в небесах и буквы гаснут в слезах... Если-бы на то хватало смелость и звездной выси, действия спелость!—Потухнем...—не угаснем мы, мы выше света, ниже тьмы. Звезда, Луна и дня светило—грела Ты ночью, днем светила... И было это днем, весной, звездой пела, цвела Луной и солнцем пышно расцветала и Розою Ты расцветала. Весну в саду мы провели.—И лето, осень к нам пришли. Уехал летом я на дачу, безумья замок на удачу я выбрал... Ехала за мной ты. Ехала в ладье одной и парус был чист, снежно-белый, попутный ветер свежий, смелый и, ты, моя, со мною здесь. С тобою часть есть все и весь! Земля! Приходишь каждодневно, уходишь тихо, мило и напевно. Я не хочу, чтоб Ты ушла. Чтоб небом—я хочу—была земля! Уйти мне было трудно. Прийти—легко и дивночудно! Чем легче было мне прийти, мне тем трудней было уйти. Не так? Пропорция прямая. Тут математика, Родная! И потому Тебя прошу: о, не уйди! Огонь тушу, и мы сидим, тьму звезд считаем, и песни тиши ласк внимаем и много миггов, звезд лучей, и много в жизни чар ночей. В Любви все ночи дивно-лунны и бесконечно многострунны... Обоим комната ль тесна? Чудна нам Ночь, красна Весна; в одном Твоем младом объятья я вижу радуги понятья. Обоим комната ль тесна? Здесь бесконечность снов дана во времени, в тени в пространстве, как в простоте так в душ убранстве... И светится нам ночь и мгла, Ты не уйдешь, Ты не ушла. И в каждом Ты моем движеньи, и в каждом Ты моем мышленьи, и в каждом основании и в вихря завывании, в моем Ты каждом световзоре, в моем биеньи, сердцехоре, и в каждом осязании, и в каждом обонянии, в моем Ты каждом негослухе, в моей Душе, в моем Ты духе... О, и не будет ничего вне, без Тебя, сверхбожество! Ни в небесах, ни под землю, ни в зорь-зарю, ни пред зарею, ни в вод воде, ни в лике дня, вне, без Безумия Огня! Ты все, что Будет, Нет и Было, Ты день, и ночь, и свет, и Мыло.

С Тобой!

1-го Января 1914 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Страницы.
I. Живешь!	5 — 16
II. Купаешься!	17 — 30
III. Горю!	31 — 42
IV. К Тебе!	43 — 54
V. Люблю!	55 — 67
VI. Признаюсь!	68 — 80
VII. Первый поцелуй!	81 — 94
VIII. Чай = 18	95 — 106
IX. Арест	107 — 120
X. У „них“...	121 — 135
XI. Математика	136 — 147
XII. С Тобою!	148 — 159

Первый Центральный Социотехникум.

Книжный отдел:
издательство, склад, магазин.



Москва,
Тверская, 68. ☎ Тел. 3-16-69.

БРАТЯ ГОРДИНЫ:

Беседы с философом анархистом	2 р. 50 к.
Манифест пананархистов	2 „ 50 „
Речи анархиста	7 „ — „
Почему или как мужик попал в страну анархии . — „	60 „
Долой Анархию	— „ 25 „
Контр-революция	— „ 25 „
Декларация Первого Центральн. Социотехникума — „	50 „
Творите анархию. Том первый: Социомагия и социотехника	15 „ — „
Педагогика молодежи или репродуктика. Часть первая: критика школы	3 „ — „

ПЕЧАТАЕТСЯ:

- | | |
|---|--|
| 1) Страна анархия. Поэма-утопия. | 6) Второе пришествие Христа. Победо-Драма в 5-ти моментах. |
| 2) Город анархия или социотехникум. Утопия. | 7) Социофилософия. |
| 3) Педагогика молодежи или репродуктика. Часть вторая: Репродуктика. Часть третья: Амorfизм. | 8) Теория познания пананархизма-пантехникализма. |
| 4) Буржуазный брак. Лиро-драма в 5-ти действиях. | 9) Зоопедия (воспитание у животных) как биоэнергетика. |
| 5) Младо-человек или Союз пяти угнетенных. Победо-драма (триумфедия) в 5-ти актах (в стихах). | 10) Анархисты. Роман 1917, 1918, 1919 г.г. |
| | 11) Я и Ты. Сборник стихов. |
| | 12) Вспойте анархию. (Сонеты и песни). |

Цена **15** руб.